

# Остров накануне

**Автор:**

Умберто Эко

Остров накануне

Умберто Эко

Знаменитый роман «Имя розы» (1980) итальянского историка, профессора семиотики и эстетики Умберто Эко – о свободе, роман «Маятник Фуко» (1988), закрепивший славу автора, – о необходимости контролировать свободу здравым смыслом, логикой, совестью. Оба дебютных шедевра Эко при их триллерной занимательности – явно философские книги. Тем более глубокое философское содержание у третьего романа «Остров накануне» (1995). Это бурная повесть о жизни и смерти с героем, напоминающим Робинзона Крузо, только выброшенным не на необитаемый остров, а на необитаемый корабль. Борьба его за выживание поэтична, книга наполнена образами из великой живописи, музыки, литературы, в ней полно сюрпризов для догадливых читателей. Необычные и сильные характеры дартаньяновского времени, грустный смех носатого Сирано и философия Декарта – все в одном сюжете, напоминающем новомодный компьютерный квест.

Умберто Эко

Остров накануне

UMBERTO ECO

L'ISOLA DEL GIORNO PRIMA

Публикуется по соглашению с литературным агентством ELKOST Intl.

© RCS Libri S.p.A. – Milano Bompiani 1988–2010

© Е. Костюкович, перевод на русский язык, 1997, 2008, 2012

© Е. Костюкович, предисловие, 2012

© А. Бондаренко, оформление, 2012

© ООО «Издательство Астрель», 2012

Издательство CORPUS ®

\* \* \*

От переводчика

Романы Эко всегда печатаются практически без комментариев: изобилие сносок нарушило бы художественный эффект, на что Эко не соглашается.

Разумеется, нельзя забывать при чтении, что «Остров накануне» – связка цитат. В книге смонтированы куски научных и художественных произведений авторов в основном XVII века (в первую очередь Джованн Баттиста Марини и Джона Донна, о чем заявляется в двух эпиграфах к роману). Используются и Галилей, Кальдерон, Декарт и очень широко – тексты кардинала Мазарини; «Селестина» Рохаса; произведения Ларошфуко и мадам де Скюдери; узнаются Спиноза, Боссюэ, Жюль Верн, Александр Дюма, от которого перебежал в этот роман Бискара, капитан гвардейцев кардинала, Роберт Луис Стивенсон, некоторые реплики Джека Лондона («...тогда же и перестал знать» – знаменитый финал «Мартина Идена») и другой литературный материал.

Широко используются сюжеты живописных полотен от Вермеера и Веласкеса до Жоржа де ла Тура, Пуссена и, разумеется, Гогена; многие описания в романе воспроизводят знаменитые музейные картины. Анатомические описания созданы на основании гравюр из медицинского атласа Везалия (XVI в.). Именно поэтому Страна Мертвых названа в романе Везальским островом.

Имена собственные в книге тоже содержат второй и третий планы. Автор намеренно не дает читателю подсказок. Но читатель сам догадывается, что точно так же, как в имени Вильгельма Баскервильского, философа-сыщика из «Имени розы», сочетаются отсылки к Оккаму и к Конан Дойлу (Хорхе из Бургоса не нуждается в пояснениях: этот образ символизирует Хорхе Луиса Борхеса с выдуманной им Вавилонской библиотекой), так же полны подтекстов имена в романе «Остров накануне».

Рассмотрим сложный и потаенный лингвистический сюжет: откуда взялось имя главного героя, Роберта де ла Грив Поццо ди Сан Патрицио? Он, выброшенный кораблекрушением в необитаемое место, безусловно должен напоминать читателю Робинзона Крузо. Робин – уменьшительное от Роберт. Но связь этим не ограничивается. Робин по-английски – это малиновка, птица семейства дроздовых, *Turdus migratorius*. По-итальянски эта птица называется *tordo*, а на пьемонтском диалекте *griva*, то есть Грив. Таким образом фамилия Роберта имеет тот же смысловой подтекст, что и имя, и это дает ему полное право именоваться Робинзоном.

Но и здесь хитросплетение не кончается. Имение Роберта называется Грив Поццо ди Сан Патрицио. Выражение «Поццо (колодец) Святого Патриция» по-итальянски означает также «бездонная бочка, прорва». Раблезианская подоплека имени подкрепляет собой и богатырски-былинную фигуру отца героя, и образ матери, по-барочному составленный из кулинарных рецептов. Английский же эквивалент того же выражения – *widow's cruse*, т. е. библейский «кувшин вдовицы» или «неистощимый источник». Так выплывает слово «Крузо», и таким сложным путем имя Роберта де ла Грив Поццо ди Сан Патрицио играет в прятки с именем персонажа Дефо – Робинзона Крузо!

В то же время автору важен и другой игровой момент, связанный с «птичьей» символикой. Немецкое имя «робина» – дрозда – *Drossel*. Каспар Ван Дер Дроссель – имя иезуита, второго «живого» героя книги, единственного собеседника героя. Каспар Шотт – так звали реального исторического прототипа героя, иезуита. Каспар Шотт был изобретателем сложных механизмов,

описанных у Эко в романе.

Заметно также, что в этой книге «птичьи» фамилии повсюду. Медика-исследователя долгот с «Амариллиды» зовут доктор Берд. Чего еще ждать от произведения, которое, судя по одному из интервью Эко, изначально даже называться должно было «Голубка огненного цвета»?

Исторические прототипы героев романа поддаются разгадыванию, но нужно знать подробности их биографий. Отец Иммануил – иезуит Эмануэле Тезауро, автор широко, хотя и скрыто, цитируемого в тексте трактата «Подзорная труба Аристотеля» (1654). «Диньский каноник», читающий лекции об атомах и цитирующий Эпикура, – несомненно, Пьер Гассенди. Обаятельный и гениальный Сирано де Бержерак выведен в романе почти портретно, зовут его в данном случае Сан-Савен. Это потому, что крещальное имя реального прототипа, Сирано де Бержерака (1619–1655), – Савиньен. Кроме того, в этой фигуре немало и от Фонтенеля. В любом случае, Эко цитирует сочинения Бержерака и при создании монологов, и при написании писем к Прекрасной Даме, умело вставляя в текст фразы вымышленного Сирано из пьесы Ростана, сочиняющего письма к Роксане.

Богато содержательны не только имена героев, но и имена неодушевленных предметов. «Дафна» и «Амариллида» (так называются два корабля в романе) – названия двух лучших мелодий флейтиста XVII века Якоба ван Эйка (вспомним, что оба корабля – флиботы, flte, «флейты»). Немаловажно помнить, что флейта – именно тот музыкальный инструмент, на котором почти профессионально играет сам автор, Эко. Вдобавок дафния и амариллис – названия цветов. Цветок *Amaryllis* принадлежит к семейству Liliales класс Liliopsida подкласс Lillidae, а Прекрасная Дама романа носит имя Лилея... Раз начав плести подобные цепочки, трудно остановиться: потому-то автор и сам ничего не комментирует, и от издателей и переводчиков ожидает того же.

Пожалуй, единственной изначально непреодолимой лингвистической преградой явилось то обстоятельство, что по-итальянски остров, *isola*, так же как и корабль, *nave*, женского рода. Роберт по-мужски обладает своей плавучей крепостью – *nave* – и вождедеет встречи и объятья со своей обетованной землей, идентифицируя ее с недостижимой любовницей (будем помнить, что по-французски «остров» выговаривается как «лиль», близко к «lilia»). На сюжетном уровне это передано, но на словесном – непередаваемо.

И последнее. Названия глав этого романа (что мало кто замечает) являют собой каталог тайной библиотеки. Все 38 заголовков, кроме двух оригинальных («Пламяцветная голубица» и «Колофон»), невзирая на то что в большинстве случаев звучат вполне по-итальянски, могут при размышлении быть возведены к названиям реально существующих литературных и – еще в большей степени – научных произведений, созданных в период барокко в разных странах мира. Многие эти словосочетания «на слуху» у европейца, но не у русского читателя. Поэтому этот единственный аспект (и именно в силу его структурообразующей функции) переводчик позволяет себе откомментировать в сносках, сообщая также название соответствующего произведения на языке оригинала.

Кроме того, по норме русской издательской традиции даются подстраничные переводы иноязычных вкраплений, за исключением самых простых и очевидных и за исключением тех, которые незаметно переведены внутри текста. Мы старались как можно меньше нарушать эстетику издания, предпочитаемую автором (полное отсутствие сносок).

Чтобы ярче осветить приоритетные принципы перевода, формулируемые самим Умберто Эко (с которыми его русский переводчик отнюдь не всегда солидаризируется), мы публикуем в конце тома в Приложении инструкции автора для переводчиков «Острова накануне» (по тексту У. Эко, напечатанному в журнале «Эуропео» 12 октября 1994 г.).

Елена Костюкович

Остров накануне

Is the Pacific Sea my Home?

John Donne,

Hymne to God my God

Stolto! a cui parlo? Misero! Che tento?

Racconto il dolor mio

A l'insensata riva

A la mutola selce, al sordo vento...

Ahi, ch'altro non risponde

che il mormorar de l'onde!

Giovan Battista Marino,

Eco, La Lira, xix

Что, Тихий Океан – мой дом?

Джон Донн,

«Гимн Господу моему Богу»

Глупец! К кому реку? Бедняк!

Что порываюсь?

С печалью обращаюсь

К бесчувственному берегу,

Немому камню и глухому ветру.

Увы! иного мне ответа,

Чем говор волн, и нету!

Джован Баттиста Марино,

«Эхо», сборник «Лира», xix

1. Дафна

[1 - Мелодия «Daphne» создана фламандским флейтистом Якобом ван Эйком Младшим (1590–1657), ему же принадлежит мелодия «Amaryllis», что соответствует имени другого корабля у Эко (в тексте корабль назван по-итальянски «Amarilli»). (См. прим. к назв. глав 7 и 32). (Здесь и далее прим. перев.).]

«Тщеславлюсь униженностью и, будучи к подобному прославлению предназначен, почти что обожаю свое ужасное избавление; думаю, из человеческого рода я единственный выброшен кораблекрушением на необитаемый корабль».

Роберт де ла Грив пишет эти неисправимо витиеватые строки предположительно в июле – августе 1643 года.

Сколько дней его мотало на доске по хлябям, в дневные часы ничком, чтоб не выслепило солнце, с противоестественно вытянутой шеей, чтоб не попадала в рот вода, с ожогами соли на теле, в лихорадке? Письма не сообщают сколько и подводят к представлению о вечности. Однако дней не могло быть более двух, иначе бы он не уберегся под стрелами Феба (как пышно выражается сам), он, такой некрепкий, он, ночное животное из-за природного порока.

Он не следил за временем, но полагаю, что море утихомирилось сразу после шквала, скинувшего его с палубы «Амариллиды», и плотик, полученный от матроса, ведомый ализеями, пригнался в тихую заводь в ту пору года, когда южнее экватора стоит мягчайшая зима, и отплыл не на очень много морских миль по воле течения, тянувшего в воды залива.

Была ночь, он дремал и не сразу почувствовал, что доска прибилась к судну и стукнула о водорез «Дафны».

И вдруг при полной луне он заметил, что дрейфует под бушпритом на уровне бака, а с полубака, рядом с якорной цепью, свисает шторм-трап (Лестницей Иакова назвал бы его фатер Каспар!), и сразу обрел присутствие духа. Видимо, сила отчаяния: он сопоставил, больше ли истратит силы на крик (но глотка была вся сухой пламень) или на то, чтобы выпутаться из веревок, исполосовавших его синяками, и попытаться взойти. Думаю, что в подобные минуты умирающий становится Гераклом, душителем змей в колыбели. Роберт не четок в описании,

но логика требует заключить, что если в конце концов он оказался на полубаке, значит, по тому трапу худо-бедно взлез. Пусть по ступенечке за час, изнеможенный, но перекинулся через планширь, ополз по сваленному такелажу, отыскал дверь полубака... Бессознательной побудкой нашарил в полумраке бочку, подтянулся за край, выудил кружку на цепи. Пил сколько мог вместить и рухнул насытившийся, во всех значениях слова, поскольку в воду, вероятно, нападало столько мошек, что она давала и попить и поесть. Проспал он не менее суток, следует думать. Ибо когда он открыл глаза, была ночь. Но он как будто заново родился. Значит, это была опять ночь, а не еще ночь.

Но он подумал, что не опять, а еще, потому что за день кто-нибудь да натолкнулся бы на него. Луч луны светил внутрь с бака, озарял камбуз, котелок качался над очагом.

С полубака было два хода: к бушприту и на бак. Во вторую дверь Роберт выглянул и разглядел, как днем, аккуратно уложенные снасти, кабестан, мачты с подобранными парусами, немногочисленные орудия у пушечных портов и надстройку полюта. На шевеления Роберта не отвечал никто. Он подошел к правому фальшборту и стал смотреть вдаль. По правому борту открылся на расстоянии приблизительно одной мили абрис Острова с береговыми пальмами, колышущимися на ветру. Земля давала излучину, окаймляемую пляжем, белевшим в свете худосочных сумерек. Но, как бывает с потерпевшими крушение, Роберт не умел определить, остров перед ним или континент.

Он перешел к противоположному борту. Там открывались – на этот раз далеко, почти на линии окоема – отроги других гор, тоже ограниченных мысами. Все прочее вода. Все подводило к мысли, что корабль сидит на мели в широком проливе. Роберт сделал вывод, что это или два острова, или, может быть, остров, а напротив него большая земля. Не думаю, чтоб он брал в расчет иные гипотезы. Он никогда не слыхивал о таких просторных бухтах, где кажется, будто находишься меж двумя массивами земли.

Неплохая ситуация для потерпевшего: опора под ногами и суша почти под боком. Но Роберт не умел плавать. На борту не имелось ни единой шлюпки. Течение оттащило в сторону доску, доставившую его к кораблю. Так что облегчение спасшегося от гибели накладывалось на кошмарное ощущение трех пустот: пустоты моря, пустоты видимого с моря Острова и пустоты корабля. Эй на борту, прокричал он на известных ему языках. Крик вышел очень слабым. Молчание. Как перемерли. Редко когда он выражался – при падкости

на сравнения – до такой степени буквально. Или почти буквально... Именно об этом «почти» я хотел бы рассказать, но не знаю, откуда начать.

Вообще-то, я уже начал. Человек в измождении в волнах океана; смилостивившись, воды выносят его на судно, оказывающееся опустошенным. Опустошенным, как если бы экипаж недавно его оставил. Роберт вернулся на камбуз и увидел лампу и огниво, было похоже, что кок приготовил это, укладываясь спать. Но сбоку от очага обе подвесные койки были безлюдны. Роберт засветил лампу, освоился и обнаружил солидные запасы еды: вяленая рыба и сухари, совсем немного позеленевшие, их ничего не стоило отскрести ножом. Рыба была очень соленая, но пресной воды в достаток.

Должно быть, он быстро восстановил силы или же погодил с отчетом, покуда не пришел в себя, настолько высокопарно он живописует роскошества этого первого пира: николи Олимповы боги не вкушаше подобного яства, о сладкая амброзия от обетованного края, о чудище, гибелью даровавшее мне жизнь... Все это писал Роберт владычице своей души:

«Солнце тени моей и свет среди моей ночи, для чего небеса не истребили меня той самою бурей, которую надменно возбудили? Для того ли от прожорливого моря восхитили брненное тело, дабы в алчном одиночестве, наипаче злключивом, неизбывно сокрушаться судилось моей душе?

Быть может, если только, умилостивясь, небеса не предуготовят мне помощь, вы не получите строки, кои сице начертаю, и, снедаемый, факелу подобно, светом этих морей, затемнюсь я перед вашими очами, уподобившись Селене, коя, чрезмерно, увы! наслаждавшись сиянием своего Солнца, соразмерно с продвижением за закрой нашей планеты, и не споспешествуемая лучами Повелителя своего – Светила, сначала утончается наподобие серпа, пресекающего ее жизнь, а затем, дотлевающий светоч, расточается на безбрежном щите лазури, где изобретательная природа разместила героические гербы и таинственные эмблемы своих тайн. Лишившийся ваших взоров, я слеп, ибо не наблюдаем вами, бессловесен, ибо вы ко мне не речете, беспамятен, ибо в вашей памяти не имею места.

Я всего только жив! Пылающая тусклота и сумеречное пламя, тащусь, как образ, который моя мысль, описывая в тождестве, хотя и при посредстве горсти несвязных противопоставлений, старается переслать мысли вашей. Спасая естество на деревянном утесе, на пловучем оплоте, заложенник моря, от моря

меня обороняющего, покаранный милосердыми небесами, в сокровенном саркофаге, отверзтом всяческому солнцу, в воздушном подземелье, в неприступном карцере, пригодном на любую сторону для побега, и отчаиваюсь увидеть вас хотя бы однажды.

Госпожа, пишу вам, поднося, недостойный подарок! безуханную розу моей тоски. Но тщеславлюсь униженностью и, будучи к подобному прославлению предназначен, почти что обожаю свое ужасное избавление; думаю, из человеческого рода я единственный выброшен кораблекрушением на необитаемый корабль».

Как верить глазам? Судя по дате этой первой бумаги, Роберт сел писать, сразу вылезши из воды, и обзавелся пшеничными припасами в каюте капитана еще до того, как осмотрел корабль, куда попал. Но ушло ведь хоть какое-то время у него на поправку сил, он же был как раненое животное? Вероятнее, перед нами маленькая любовная хитрость. В реальности сперва он разведаль, куда его занесло, а потом, пиша, датировал задним числом.

Но зачем? Ведь он знает, полагает, страшится, что письма не дойдут, и пишет для саморастравы (растравной отрады, как выразился бы он, но не поддадимся стилю!). Нелегкое занятие – реконструировать действия и чувства героя, безусловно пишущего настоящей страстью, но неясно, выражающего ли то, что чувствует, или то, что в его времена требовалось чувствовать согласно правилам... Хотя что знаем мы о разнице между страстью ощущаемой и страстью выражаемой, и которая из них первична?

Значит, писал он для себя, и это не литература, а времяпрепровождение подростка, мечтающего о недостижном. Страница испещряется слезами не по той причине, что Она далека, Она составляла собою только образ, даже и когда была близко, – а из сострадания к самому себе, влюбленному в любовь...

Вообще-то роман слепить из этого можно, но откуда же, откуда приступать?

Я думаю, что первое письмо он все же сочинил впоследствии, а сперва попробовал понять, где очутился, и это будет рассказано в следующих посланиях. И опять: как понимать дневник, где тшятся наделить наглядностью, при помощи пронизательных метафор, нечто осмотренное слабыми глазами в ночное время суток?

По свидетельству Роберта, глаза у него страдали с тех пор, как пуля оцарапала висок в Казале. Допустим; хотя почти вслед за тем он пишет, что подслеповатость развилась из-за чумы. Роберт несомненно был деликатного здоровья и, как я могу судить, вдобавок ипохондрик. Половину его светобоязни мы отнесем за счет черной желчи, а вторую половину спишем на какое-то застарелое раздражение, возможно обострившееся от препаратов господина Д'Игби.

Похоже, что все плавание «Амариллиды» Роберт просидел под палубой, отчасти бережась от света, отчасти прикидываясь, чтобы лучше приглядывать за происходившим на нижних ярусах. Многие месяцы были проведены в полной темноте или при свете лампадки – а затем три дня на деревянной руине под слепящим заревом не то экваториального, не то тропического солнца. Когда его принесло на «Дафну», то по болезни или после пережитого, но свет он выдерживать не мог. Первую ночь он провел на кухне, оклемался и отправился смотреть корабль второю ночью, а потом уж так и складывается, как завелось. День его пугает, и не только глаза не терпят света, но саднит обожженная спина. Он отсиживается в логове. Луна, по его описаниям обворожительная, дарует свежесть ночами, а днем горний свод таков же, как и в других местах. Ночью он разгадывает новые созвездия (именно их он называет героическими гербами и таинственными эмблемами природных тайн). Будто на театральном спектакле, он убеждает себя, что именно таковы будут законы его жизни на долгое время, а может быть, навсегда. И воссоздает Госпожу на бумаге, дабы не утратить ее, но сознавая, что не многое потерял, потому что не много ему принадлежало.

Поэтому он ухоранивается в ночные бодрствования, как в материно лоно, и вдвойне неколебим в намерении не видеть солнца. Может, он подражает венгерским оборотням или тем из Ливонии либо из Валахии, которые ширяют, неугомонные, от заката до восхода, а по петушином крике укладываются в гроба.

Роберт отправился в экспедицию на второй вечер после высадки. Он накричался сколько нужно и мог полагать, что на борту нет никого. Однако робел, что придется видеть трупы, обнаружить то, из-за чего, собственно, на борту не осталось людей. Он выступил с великой осмотрительностью, и из писем невозможно понять, откуда начал. Путано описывается корабль, его части, судовый набор. Многое на вид ему знакомо и наименование он слышал

от матросов; многое другое он не умеет назвать и лишь описывает внешнюю наглядность. Но даже в отношении знакомых ему отделов судна видно сразу, что команда на «Амариллиде» подбиралась из отребья семи морей, потому что название одних частей ему, видно, перепало от француза, других – от голландца, третьи он величает по-английски. Он употребляет термин «staffe» (по-итальянски «зажимы»), имея в виду балестрилью, то есть параллактические линейки; чувствуется влияние объяснения доктора Берда, от английского «staff angle». Читающему кажется странным, что Роберт оказывается то на полуяте, то на верхней палубе, то на четвердеке, то на шканцах, пока он не догадывается, что все это названия одного и того же места. Роберт пишет вместо «люки» «пушечные порты», но это я ему готов простить охотно, потому что так было в морских приключениях, которые я читал мальчишкой; мы находим у него парус-попугайчик, *parrocchetto*, в моих отроческих книжках так назывался фор-брамсель, то есть верхний парус передней мачты, фока, но не будем упускать из виду, что у французов *perruche* – это крьюйс-брамсель и принадлежит он бизань-мачте. В то же время и эту самую бизань Роберт иногда называет *artimone*, подражая французам, но периодически пишет *mizzana*, видимо искажая итальянское слово *mezzana* и не учитывая, что для французов *misaine* – это фок-мачта (но, прошу внимания, отнюдь не для англичан, которые называют *mizzenmast* мачту, самую близкую к корме). Роберт пишет на деревенский манер *gronda* («сточная труба»), имея в виду шпигат, который в морском языке того времени обычно звучит как *ombrinale*. В общем, я намерен разобраться в нагромождении и изложить его привычными нам терминами. Даже если в чем-то ошибусь, надо надеяться, сюжет не слишком пострадает.

Итак, в ту вторую ночь, подкрепившись провизией, найденной у кока, Роберт наконец отважился при свете луны выступить на полубак.

По форме водореза, по выпуклым бокам, замеченным предыдущей ночью, осмотрев также узкую палубу, характерный форштевень и тонкий круглый ют, Роберт сопоставил это судно с «Амариллидой» и пришел к выводу, что «Дафна» тоже относилась к типу голландских «флейт» (*fluyt*, *flite* или *fluste*), то есть флиботов, как обычно именуются эти торговые корабли среднего водоизмещения, вооружаемые десятком пушек, просто для очистки совести в случае взятия корабля пиратской бандой, и рассчитанные на команду в дюжину матросов, с возможностью принимать на борт к тому же много пассажиров, если не держаться за жизненные удобства (и без того скудные),

навешивая койки так, чтобы в кубрике было невпроступ, – и в дорогу, не опасаясь зловредных миазмов, хватило бы урыльников. «Дафна» – флибот, но крупнее «Амариллиды», и полубак весь зарешечен, как если бы капитану нравилось зачерпывать воду при каждом ощутительном взбрызге пучин.

В любом случае то, что «Дафна» являлась флиботом, это было преимущество, потому что Роберт мог исходить из привычного размещения вещей. Скажем, на середине верхней палубы должна была быть большая шлюпка, на экипаж в полном составе; она отсутствовала, что наводило на мысль, будто экипаж отбыл на ней. Это вовсе не успокаивало Роберта. Корабль не бросают без призора на открытом рейде, даже на якоре с подобранными парусами в тихом заливе.

В тот первый вечер он направился напрямик к полуюту, осторожно и обходительно приоткрыл дверь, словно спрашивая у кого-то позволения... Компас на вахтенном месте показывал, что пролив был ориентирован с юга на север. После этого Роберт переместился в отсек, который сейчас назвали бы кают-компанией: зал L-образной формы, а за переборкой обнаружилась командная рубка, откуда широкое окно выходило на ют поверх румпеля и имелись боковые двери на балюстраду. На «Амариллиде» командная рубка не совмещалась с каютой, где капитан ночевал, а здесь, на «Дафне», похоже, старались сэкономить пространство и выгородить место для чего-то еще. И точно, притом что налево из кают-компании проходили в две офицерские каюты, справа размещался еще один отсек, даже более обширный, чем капитанский, с маленькой койкой у дальней стены, но весь отсек имел явно рабочий характер.

Стол был завален картами, Роберту показалось, что их гораздо больше, нежели кораблю потребно в плавании. Кабинет ученого? Карты, зрительные трубы, превосходная ноттурлябия из меди, метавшая рыжие сполохи, как будто сама она содержала источник света; небесная сфера, привинченная к столешнице, листы, испещренные цифирью, и пергамент с вычерченными окружностями черной и красной тушью. Что-то подобное (но не такой тонкой работы) имелось на «Амариллиде», и назывались эти таблицы Региомонтановыми картами циклов Луны.

Он возвратился в командный отсек, вышел на галерею, увидел Остров и смог – как выражается сам Роберт – рысьим оком пронизать его немоту. Попросту говоря, Остров нарисовался где был, на своем прежнем месте.

На корабль Роберт попал почти голым. Полагаю, что прежде всего, чтобы избавиться от соляной корки, он помылся на камбузе, не подумавши даже, не последнюю ли тратит пресную воду на борту. Вслед за этим вытащил из ларя парадное платье капитана, хранившееся к возвращению в родной порт, и покрасовался в командирской сбруе; обул сапоги и вроде снова вступил в родную среду. Лишь теперь, благородным дворянином, в должном обмундировании, а не измочаленным оборванцем, он официально принял под команду покинутый корабль и уже не узурпаторским, а хозяйским жестом пододвинул к себе ожидавший на столе в распахантом виде бортовой журнал вместе с гусиным пером и с чернильницей. Из первой записи ему стало известно имя корабля; все остальное – непроходимая чаша *anker, passer, sterrekyker, roer*; не много радости было ему убедиться, что капитан был фламандец. В любом случае последняя запись датировалась парой недель до того. Среди неудобочитаемых писем бросалась в глаза подчеркнутая жирной линией фраза по-латыни: *pestis, quae dicitur bubonica*.

Ну вот он, след, вот намек на объяснение. На корабле поразбойничал мор. Это открытие не озаботило Роберта: он переболел чумой за тринадцать лет до того, а как известно, перехворавшие пользуются неким чудодейственным попустительством – змей заразы не решается атаковать вторично чресла того, кто единожды возобладавал над ним.

Тем не менее этот след не столь уж многое открывал. Скорее он открывал простор для нового беспокойства. Предположим, что умерли все. Но тогда где же, в беспорядке наваленные на верхнем деке, трупы последних, тех, кто до гибели успел предать милосердному морскому погребению прах усопших товарищей?

Отсутствовала шлюпка. Остатки команды, или вся команда, покинули корабль. Что их выжило с зачумленного судна, составив непреодолимую опасность? Крысы, быть может?

Роберту показалось: промелькнуло в острой остготической скорописи капитана слово *rottenest* (гнездо пасюков, канавных крыс?), и он мгновенно дернулся, поднял фонарь, чтобы встретить лицом к лицу шуршащую у подножья стены нечисть, чтоб не сробеть от мерзкого писка, оледенившего ему кровь когда-то на «Амариллиде». Он передернулся при воспоминании о том, как волосатая погань щекотнула по его лицу в полудреме и как на вопль примчался доктор

Берд. Потом над Робертом потешались все, что-де на кораблях и без всякой чумы крыс должно водиться нисколько не меньше, нежели прыгает в роще пернатых, и что к ним следует относиться спокойно, если собрался ходить по морям.

Однако крыс, по крайней мере здесь, на полуострове, не было заметно. Может, отсиживаются в трюме. Красноватенькие глазки мерцают через мрак в ожидании свежего мяса. Роберт произнес про себя: если все дело в крысах, нужно выяснить и понять обстановку. С крысами нормальными, и в нормальном количестве, можно как-то сосуществовать. Впрочем, каким еще им быть, этим крысам? – спросил себя Роберт, и отвечать ему не захотелось.

Роберт отыскивал ружье, саблю и кинжал. Он прошел войну; ружье было типа калибер – так звали его англичане – и наводилось без рогатки. Он проверил амуницию, больше для порядка; вряд ли он собирался разгонять пулями крысы рати. И даже зачем-то заткнул за пояс кинжал, хотя против крыс кинжал мало чем мог быть полезен.

Он собрался исследовать судно от юта до бака. Пройдя через камбуз, по трапику, уходившему вниз от крепления бушприта, спустился в провиантскую. Там были складированы припасы – вдоволь для дальнего плавания. Все это не могло лежать тут с начала рейса. Экипаж явно пополнил провиант совсем недавно на гостеприимной пристани. Плетеные короба были полны свежезавяленной рыбы. Кокосовые орехи лежали пирамидами, и тут же в бочонках какие-то клубни не встречавшейся формы, но съедобного вида, безусловно годные храниться долго. Там были такие же фрукты, как те, что появлялись в свое время на борту «Амариллиды» после первых заходов на тропические острова. Эти фрукты тоже не портились от лежания, снаружи страшили шипами и чешуями, однако их острый аромат выдавал сокровенную сочность, сахаристые тайные гуморы. Из какого-то островного сырья, вероятно, вырабатывалась и черноватая мука, пахивавшая гнилью. Из нее были спечены уложенные рядом с мешками муки хлебы; эти хлебы напоминали те безвкусные шишки – картофель, – которые шли в пищу у индейцев Нового Света.

У дальней переборки стояло около десятка бочонков с кранами. Он отвернул один кран, потекла вода, и причем не провонявшая, а свежая, набранная совсем недавно и обработанная серой, чтоб сохраняться про запас. Воды было немного. Но, имея в виду, что и фрукты утоляют жажду, можно было рассчитывать на довольно долгое житье на борту. Как на грех, все эти открытия, дававшие понять, что экипаж не вымер от истощения, растревожили его еще сильнее.

Это всегда случается у меланхоликов. Для них любой знак судьбы – провозвестие злокачественных чудес.

Быть выброшену на опустошенный корабль само уж по себе довольно странное дело, но хотя бы пусть тогда корабль будет оставлен Господом и людьми как непригодная к пользованию рухлядь, не имеющая в себе ни произведений природы, ни произведений ремесел, ничем не богатая сень; это было бы в порядке вещей и в порядке тогдашнего мореплавания; но найти перед собой посудину в таком глазуутешном виде, прямо приготовленную для дорогого долгожданного гостя, прямо похожую на настоящее подношение – вот что действительно начинало отдавать серой, посильнее, чем бочечная вода. Роберту припомнились сказочные повести, слышанные от бабки, и другие, более изысканного плетения, читавшиеся в парижских литературных салонах, где заблудившаяся принцесса вступает в сказочный замок и находит пышно разубранные залы, видит ложа под балдахинами, гардеробные с роскошной одеждой, даже накрытые пиршественные столы... Как известно, в этих рассказах в самой последней комнате принцессу, среди испарений серы, поджидает то исчадие ада, которое и соорудило ловушку.

Роберт потрогал кокос в нижнем слое кучи, нарушил равновесие, и щетинистые шары рассказали, будто крысы, прежде притворявшиеся неживыми, выжидавшие на полу, подобно нетопырям, оцепенело вцепляющимся в потолочные балки, покуда не настанет миг, чтобы броситься в рассыпную, добежать до него, закарабкаться на тело, на плечи, внюхаться в лицо, соленое от ручьев пота.

Убедиться, что нет заклятья! Роберт за месяцы странствий научился обращению с заморскими плодами. Действуя кинжалом как секирой, одним ударом он разрубил орех, сломал скорлупу и впился в мягкую манну, открывшуюся под корой. Это яство было столь восхитительно и сладко, что ощущение коварства только усугубилось в нем. Вот, прошептал он, я уже во власти очарованья, мечтаю отведать плод, а на деле угрызаю грызунов, пресуществляю их сущность. Вот-вот и мои руки утончатся, скрючатся и окогнутся, тело опухнет кисловатыми волосиками, хребет выгнется, и я буду востребован к потустороннему апофеозу шершавых насельников этой нашей ладьи Ахерона.

Вдобавок, чтоб кончить рассказ о первой ночи, упомянем еще одно кошмарное провозвестие. Грохот катающихся кокосов, похоже, растревожил кого-то спящего на корабле. Из-за переборки послышалось, правда, не мышье

попискивание, а чириканье, щебетанье, кто-то скребся коготками. Значит, чара существовала, ночные исчадия собирались на шабаш в каком-то закуте.

Роберт спросил себя, должен ли он с ружьем наперевес немедля атаковать этих Армагеддон. Сердце колотилось, и он костерил себя за трусость и убеждал себя, что не этой ночью, так будущей, но придется ему столкнуться с Ними к лицу лицом. И все же он ретировался. Взбежал на палубу по трапу, и, к счастью, языки зари уже слизывали белесый воск с металла орудий, изласканных бликами луны. Занимается день, сказал он себе с облегчением, а от дня я обязан убегать.

Подобно венгерскому вурдалаку, прыжками он промчался по шкафуту, чтобы скорее попасть на полуют, в ту каюту, которую отныне присвоил, забаррикадировался, перекрыл выходы на галереи, разложил оружие прямо под рукой и бросился в постель, чтоб не видеть солнца – палача, перерубающего лучевой алебардой тонкие шеи теней.

Разбудораженный, он видел во сне крушение судна. Сон соответствовал регламенту барокко, по которому даже в грезах, даже в первую очередь в них, пропорции обязаны украшать концепт, преувеличения – оживлять, таинственные сближения – придавать рассказу содержательность, размышления – глубину, эмфазы – возвышенность, аллюзии – загадочность, а каламбуры – тонкость.

Я полагаю, что в те времена и в таких морях больше кораблей тонуло, нежели возвращалось в порт; но кому выпадало сокрушаться впервые, этот опыт, надо думать, давал тому последствия в виде повторяющихся кошмаров, а привычка к изящному оформлению доводила эти кошмары до живописности Страшного Суда.

С вечера воздух занедужел, простуда дулась, как небесный глаз, набухающий слезами, бессильный выносить отлив широководной глади. Кисть природы ступевала линию закроя, и глазоуму блазнились туманные далекие доли.

У Роберта мутило в кишках, пророчество неминуемой морской смуты, он распростирался на ложе, баюкаемый пестуньей циклопов, задремывал среди тревожных снов, в которых грезил, будто видит сон о снах, коими чревата изумляющая космопея, о снах, которые пересказываются тут. И пробужден был

вакханальей громов, стенанием корабельщиков, струи захлестывали койку, на бегу всунулся доктор Берд и прокричал идти на шканцы и крепко держаться за что угодно, лишь бы оно держалось тверже его.

На верхней палубе смятение и вопли, безысходность, и люди будто Божией десницей вздеты в воздух и швырнуты в море. Некоторое время Роберт цепляется за исподний парус бизани (так, во всяком случае, я истолковал его рассказ), покуда мачта не валится, испепеленная громами, и рей не выгибается, подражая кривой орбите звезд, а Роберта не дошвыривает до основания грот-мачты. Там добросердечный матрос, приторочивший себя к комлю мачты, не имея места присоседить Роберта, бросает ему конец и кричит, чтоб привязался к двери, сорвавшейся с полубака и донесенной до них водою, и, к счастью Роберта, дверь с ним на месте захребетника отскальзывает к планширю, потому что в это время грот-мачта перешибается пополам и разносит на две полы череп доброхотного вспомогателя.

Через пробоину в борту Роберт видит, или ему мстится, будто видит, хоровод теней и молний, в волнистом луге, в прозорах света... Но тут, я думаю, он просто не может удержаться от красивых цитат. Трещат райны, мачты гнутся, от натуги снасти рвутся. Слово за слово, а тем временем «Амариллида» перекашивается в сторону беженца, готового бежать, и Роберт на своей доске, как ветер растворил глубокие пещеры, соскальзывает в них. Рухая, он наблюдает над собою седого Океана, который грозные валы до облак простирает, и в мороке зениц подъятые падших пирамид, и водянистую комету, которая блудит лихой орбитой в водовороте мокрых неб и в пучине след ее горит, пока везде громады воют и груды брызг скрывают свет. Где гром и молния, там ярость возвещает разгневанный тайфун и море возмущает. И в безднах корабли скрывает, бурный, крут; где сошлось небо с понтом и сечется с горизонтом, берега богов зовут на брань, когда в морях шумит волнение и рев. Роберт упоминает и пенных Альп кипучие наклоны, среди которых буруны как почтальоны, и Цереру цветоносную в блистании сапфиров, и скаканье и разлет рассыпанных опалов, как будто теллурическая дочь Прозерпина захватила главенство, взбунтовав против плодородящей матери.

В окружении разной дикой твари, рыкающей вокруг него бесчисленно, пока кипят серебряны подливы среди хлопотливейших забот, в один прекрасный момент Роберт прекращает наблюдать на спектакле и, превращаясь в действующее лицо, теряет чувства и ввиду обморока не знает больше ничего. Только впоследствии он предположит, созерцая свой сон, что доска,

по благосострадательному распоряжению или по автоматизму пловучего материала, сама сплясала ту же джигу, то припадая, то подскакивая, и утихомирилась в протяжной сарабанде, поскольку ярь стихий смешала порядок плясок на балу, и все более дальними околичностями отдалила Роберта от пупа карусели, куда все же была всосана, двусмысленный волчок в руках сынов Эола, незадачливая «Амариллида», задрав кормило к небесам. А с нею и последние живые души в ее утробе: еврей, кому удел найти в Небесном Иерусалиме тот Иерусалим земной, которого он так и не обрящет; мальтийский рыцарь, навсегда отрешенный от острова Эскондида; доктор Берд со споспешниками; и, наконец избавленный добровольительной натурой от медицинского ухода, тот несчастный, бесконечно израненный пес, о котором, кстати, я еще не имел возможности здесь рассказать, поскольку Роберт его описывает несколькими письмами позже.

В общем, предполагаю, что из-за бреда и из-за бури сон Роберта оказался до того неровным, что свелся к кратчайшему времени, которому сулилось заменить воинственным взбодрением. И действительно он, смирившись с мыслью, что снаружи, предположительно, день, и утешенный соображением, что мало света проникается внутрь через мутные иллюминаторы юта, и надеясь, что существует достаточно тенистый трап, ведущий с верхней на нижние палубы, приосанился, обвесился оружием и выступил в бестрепетной безнадежности на разведывание причины своего недавнего ночного перепуга.

Вернее, не выступил. Мне очень неловко, но виноват Роберт, который в письмах Владычице утверждает разное, то есть не передает достоверный порядок того, что происходило с ним, а старается сделать из письма новеллу, вернее – первобытный вариант не то письма, не то новеллы. И ставит в ряд сюжетные ходы, не зная, который выбрать; расставляет шахматы, не решив, какой ход совершить.

Сначала он пишет, что спустился в недра «Дафны». Почти вслед за этим мы читаем, что он был разбужен утренним брезгом и отдаленным концертом. Звуки доносились, неусомнительно, с Острова. Роберт вообразил ораву туземных жителей, которые выплывают на каноэ и осаждают корабль, и ухватил мушкет. Звуки, правда, не походили на боевые кличи.

Была заря, солнце еще не било по стеклам. Роберт вынудил себя пройти на галерею, внюхался в море, сдвинул ставню и полуприкрытыми глазами

попробовал разглядеть берег Острова.

На «Амариллиде» Роберт, никогда не хаживавший на мостик, слыхивал, как другие пассажиры рассказывали про огнезарные рассветы, когда солнце нетерпеливо закидывает стрелами мир. А тут он бесслезным оком принимал пастельный пейзаж, пузыри тяжелых туч, легонько окаймленных перламутром, и нежный полуотлив, полуоттенок розы, лившийся из-за островного края, будто нарисованного кобальтовой акварелью на шероховатой бумаге.

Но этой почти северной палитрой живописалось перед ним довольно, чтоб уяснить, что силуэт, выглядевший ночью скалою, представлял собой лесистый холм, крутым откосом нависавший над песчаной полосой прибоя, где пальмы оттеняли белый пляж.

Постепенно песок отсверкивал все сильнее, и на его краю зашевелилось что-то вроде крупных окостенелых пауков, перебиравших черствыми конечностями по воде. Роберт на расстоянии догадался, что это перекаати-водоросли. Но яркость солнца нарастала, и ему пришлось оставить обзор.

Он подумал, что когда отказывают глаза, слух должен выручать, и доверился своему слуху. Почти полностью завесил иллюминатор и притиснулся ухом к щели, воспринимая шумы, поступающие с Острова.

Хотя ему и помнились восходы солнца среди родных холмов, он понял, что впервые в жизни слышит такое птичье пение; в любом случае столько песен одновременно и до того разнообразных он не слыхивал никогда.

Тысячами они здравствовали солнцу. Ему показалось, что узнает среди голосов и вопли попугаев, и щелканье соловья, и кантилену дрозда, и крик жаворонка, и несметные чирикания разных ласточек, и вдобавок жесткое скрипенье цикады и сверчка, и он гадал, взаправду ли слышит этих животных или их антиподных двоюродных родственников... До Острова было недалеко, но ему мерещилось, что эта музыка привеела к кораблю на своих крыльях дурман померанцевых цветов, аромат базилика, как если бы воздух над всею бухтой налил благоуханием... С другой стороны, рассказывал же ему господин Д'Игби, что в путешествиях он узнавал о близости земли по душистым атомам, заносимым на борт ветрами.

Но чем больше он внюхивался и слушал невидимое многоголосие, будто с башенного зубца или через амбразуру бастиона наблюдал за формированием армейского полукруга в ложбине под горой, и за дальними подступами, и за водной преградой под стеной крепости, он все сильнее ощущал, что уже видел то, что воображает, вслушиваясь, и пред лицом безмерности, обложившей его, снова чувствовал себя в осаде, и рука инстинктивно тянулась зарядить мушкет. Он был в Казале. Перед ним разворачивался фронт испанской армии, со скрежетаньем повозок, с клацаньем оружия, слышались теноры кастильцев, гоготня неаполитанцев, грубое бурчание ландскнехтов, а на их фоне какое-то острое рыдание трубы, долетавшее приглушенно, как через вату, и тупые бухания аркебузы, вроде хлопучек на деревенском празднике.

Похоже, что жизнь вся протекла между двумя осадами, и одна явилась зеркалом другой, с тем исключительным различием, что ныне, при замыкании десятилетнего круга, водная преграда была уж чересчур надежной и чересчур окружной, так, чтобы сделать невозможной любую вылазку; и Роберт снова окунулся в атмосферу Казале.

## 2. О том, что произошло в Монферрато

[2 - Французская историческая хроника «Histoire Journali?re de ce qui s'est passe dans le Montferrat» («Подневный отчет о том, что происходило в Монферрате», первая половина XVII в.).]

О шестнадцати годах жизни до Монферрато, до памятного лета 1630 года, Роберт рассказывает очень мало. О прошлом он вспоминает только если, по его понятиям, оно имеет отношение к «Дафне», так что уяснить эту азартную повесть можно только обшарив закоулки недомолвок. Как в детективном романе, где автор старается сбить читателя с толку и сообщает ему совсем немного деталей, так и здесь: будем разбираться в полунамеках.

Семья Поццо ди Сан-Патрицио была средней знатности и владела обширным имением Грив на окраине области Алессандрии, которая принадлежала в те времена к Миланскому герцогству, а следовательно, была во власти испанцев. Тем не менее, по геополитическим причинам или по душевному расположению, они считали себя вассалами герцогства Монферрато. Глава семьи, говоривший

по-французски с женой, по-монферратски с людьми и по-итальянски с посторонними, к Роберту обращался на любом из этих языков, в зависимости от того, учил ли его шпажной колке или скакал вместе с ним по полям, горланя на воробьев с воронами, портивших посевы. Остальное время мальчик рос в одиночестве и выдумывал сказочные страны, слоняясь по виноградникам. Гоня голубей, он воображал соколиную охоту. Играя с собакой, закалывал дракона. Любая комната фамильного замка, хотя вряд ли это был такой уж замок, могла оказаться сокровищницей. Брожению отроческой фантазии способствовали романы и рыцарские поэмы, находимые им под слоем пыли в южной башне.

Так что можно сказать, что он не был полным невеждой и даже учился у учителя, правда нерегулярно. Некий монах кармелитского братства, якобы путешествовавший по странам Востока и, по слухам (рассказывала, крестясь, мать Роберта), перешедший на этом Востоке в магометанство, ежегодно являлся к ним с одним слугой, везя на четырех мулах книги и прочий бумажный скарб, и нахлебничал три месяца в замке. Что он преподавал ученику, неясно, но, приехавши в Париж, Роберт выглядел в Париже не так уж скверно и в любом случае был способен быстро запоминать и усваивать то, что слышал.

Единственное, что мы знаем об этом кармелите, Роберт рассказывает в связи с одним своим делом. Оказывается, старый Поццо когда-то порезался, чистя шпагу, и от ржавчины или попал на неудачное место, но только эта рана болела и болела. Тогда кармелит взял в руки ту шпагу, посыпал порошочком из коробочки, и мгновенно Поццо поклялся, что испытал облегчение. На следующий день рана зарубцевалась.

Кармелит развеселился, видя, как все заахали, и сказал, что секрет пороха он получил от араба, и это гораздо целебнее снадобья, которое христианские лекари-спагирики называют *unguentium armarium*. Когда же его спросили, почему порошок сыплют не на рану, а на лезо, ее нанесшее, он отвечал, что таково действует природа; между самыми сильными силами коей существует всемирная симпатия, правящая на далеке. И добавил, что кому затруднительно верить в это, пусть помыслит о магните, который не что иное как камень, тянущий к себе стружки металлов, или о больших железных горах, стоящих на севере нашей планеты, и как они тянут иглу буссоли. Так лезвейная мазь, плотно приставая к лезу, оттягивает те достоинства металла, которые лезо оставило в ране и от которых рана не заживает.

Кто в отрочестве столкнулся с подобным фактом, не мог не запомнить его на всю жизнь. Скоро мы увидим, как вся судьба Роберта переменялась из-за этого его интереса к притягательной способности мазей и порошков.

Вообще говоря, не этот эпизод представляется главным для юношеского возраста Роберта. Есть еще одна тема, она проходит постоянным мотивом, который неизгладимым подозрением вкоренился в глубины его памяти. Так вот, похоже, что отец, безусловно любивший его – хотя и сдержанно-грубовато, как свойственно мужчинам тех краев, – время от времени в раннюю пору жизни, а именно в первые пять Робертовых лет, любил подымать его высоко в воздух и восклицать: «Ты наш первенец! Первороденный!» Ничего в этом нет примечательного, кроме некоторой очевидности говоримого, учитывая, что Роберт был и оставался единственным ребенком. Но следует сказать, что, подрастая, Роберт начал припоминать (или убеждать себя, будто припоминает), что при подобных отцовских восторгах на лице матери пробегало беспокойство, сменявшееся улыбкой, как будто речи отца радовали ее, но и оживляли подавляемую тревогу. Роберт в своем сознании постоянно обдумывал тон отцовской фразы, и всякий раз ему казалось, что слова отца не носили характера констатации и что по сути это было противительное высказывание со смыслом: «Ты! Ты, а не кто иной! наш первороденный и полноправный отпрыск».

Не кто иной или не некий Иной? В письмах Роберта фигура Иного появляется постоянно, он просто одержим этой идеей, и зародилась она в ту пору, когда он вообразил себе (известно, как работает воображение у ребенка, который растет среди башен с нетопырями, среди виноградников, ящериц и коней, воспитывается с крестьянскими недорослями и питает свой ум то бабушкиными сказками, то учением кармелита), вообразил существование непризнанного брата, предположительно дурнонравного, раз отец от него отказался. Сперва Роберт был слишком мал, а впоследствии чересчур стыдлив, чтобы спрашивать, по какой из линий тот ему приходится братом – по отцу или по матери (и так и этак на одного из родителей падала тень традиционного и непростительного прегрешения). В любом случае брат существовал, и по какой-то, возможно даже сверхъестественной, вине он был отринут и отвергнут и, разумеется, не мог не ненавидеть его, Роберта, балованного в доме.

Призрак этого противного брата (с которым тем не менее он хотел бы свидеться, полюбить его и ему полюбиться) тревожил его в детстве ночами, а постарше, подростком, он перелистывал в библиотеке старинные томы, ища запрятанного

портрета ли, церковной ли записи, какого-то знака. Он кружил по чердакам, копался в сундуках с дедовской одеждой, рассматривал зеленые от окислов медали, мавританские клинки, теребил вопрошающими пальцами распашонки тонкой бязи, безусловно надеванные новорожденным, но неясно – годы или столетия назад.

Как-то постепенно этому утраченному брату было присвоено собственное имя, Феррант, и ему стали приписываться мелкие проступки, в которых облыжно обвиняли Роберта, а именно хищение пирожного или отпуск цепной собаки с привязи. Феррант, полномочием своего небытия, действовал за спиной Роберта, а Роберт прикрывался Феррантом. Постепенно привычка виноватить несуществующего брата в том, чего Роберт не совершал, перешла в порок приписывать ему и те грехи, которые Роберт на самом деле содеял и в которых раскаивался.

Не то чтобы Роберт лгал людям; принимая бессловесно, с комом в горле, наказание за проступки, он убеждал себя в невинности и что он жертва злоупотребления.

Однажды, например, Роберт, опробуя новый топор, незадолго до того полученный от кузнеца, а по существу в отместку за какую-то несправедливость, которую с ним сотворили, смахнул фруктовое деревце, выращенное отцом на развод. Осознав, какое глупое лихоедеяство теперь на его совести, Роберт стал предчувствовать мучительные последствия, наименьшим из каковых была продажа в рабство туркам, с тем чтобы они продержали его остаток жизни гребцом на галерах, от чего он решил спастись бегством и пристать к горным бандитам. Ища оправдания свершенному, он довольно скоро уверил себя, что изувечил саженец не он, а Феррант.

Однако отец, увидев убыток, велел сойтись всем мальчишкам в имении и заявил, что, во избежание неукротимого его гнева, провинившемуся предлагается сознаться. Роберт ощутил порыв жалости и великодушия: если бы он выдал Ферранта, тот, бедолага, был бы заново отвергнут. В сущности говоря, он и вредничал только из-за своего одинокого сиротства, видя, как соперник купается в ласках отца и матери... Роберт выступил из ряда и, содрогаясь от ужаса и гордости, сказал, что не желает, чтобы кого-либо наказывали взамен его. Эта речь, хотя и не была признанием, воспринялась как таковое. Отец, закручивая ус и поглядывая на мать, свирепо прочищая глотку, отвечал на это, что хотя вина и была тяжчайшей и кара неотвратима, но все же

невозможно не оценить, как юный синьор де ла Грив с честью следует семейному заводу, и значит, не изменит чести и в будущем, хотя пока еще ему только восемь лет. Затем подвел итоги: Роберт не будет взят в августовскую поездку к кузенам Сан-Сальваторе. Хотя приговор и не сильно радовал (в имении Сан-Сальваторе один винодел, Квирин, учил Роберта залезать на фиговое дерево огромного размера), все же он был значительно мягче, нежели султановы галеры.

На наш взгляд, история эта проста. Родителю приятно, что его отпрыск не лжив; с неприкрытым удовлетворением он взглядывает на мать и избирает несуровое наказание, раз уж наказание было обещано. Однако Роберт обдумывал и обсасывал этот случай очень долго и пришел к выводу, что его мать и отец несомненно почувствовали, что виновник – это Феррант, восхитились братской самоотверженностью их перворожденного сына и порадовались, что в очередной раз обошлось без обнародования семейного греха.

Может, мы вышиваем сюжет по ничтожным обрывкам канвы; но присутствие отсутствующего брата будет иметь определяющее значение для нашей повести. Во взрослом Роберте – по крайней мере в Роберте того сложнейшего, путаного периода, когда мы наблюдаем его на «Дафне», – отзывается полудетская игра самого с собой.

Но я чуть не утратил нить. Мы еще не уяснили, как Роберт оказался в осаждавшемся Казале. Думаю, правильнее всего будет пустить на свободу фантазию и вообразить, как разворачивались дела.

В имение Грив новости доходили не слишком-то спешно, но за последние два года как-то узналось, что открытый вопрос мантуанского наследства принес немало огорчений герцогству Монферрато и что-то вроде полусады уже происходило там. Коротко говоря – историю эту рассказывали и другие, хотя даже еще отрывочнее, чем я, – в декабре 1627 года скончался герцог Викентий II Мантуанский, и у одра этого шлопуга, не умевшего делать детей, разыгрался балет четырех претендентов, а также их агентов и покровителей. Победителем оказался маркиз Сен-Шармон, он убедил Викентия, что наследником должен быть назначен один кузен по французской линии, Карл Гонзага, герцог Невер. Старый Викентий, между охами и вздохами, женил или позволил жениться в страшной спешке этому Неверу на своей племяннице Марии Гонзага и испустил дух, оставляя племяннице государство.

Этот Невер был француз, а герцогство, что ему отходило, включало в себя среди прочего Монферратский маркизат; столицей маркизата был город Казале, самая серьезная крепость Северной Италии. Будучи расположен между миланскими (то есть испанскими) владениями и землей Савойя, Монферрато давал возможность контролировать всю область верхнего течения По, все пути через Альпы к югу, сообщение между Миланом и Генуей и вообще представлял собой одну из двух буферных территорий между Францией и Испанией. Ни одна из двух больших держав не доверяла второй буферной территории, герцогству Савойя, поскольку Карл Иммануил I Савойский постоянно вел игру, которую только из большой вежливости можно называть двойной. Переход Монферрато к Неверам практически означал бы переход этих земель к Ришелье. Естественно, Испания предпочитала, чтобы Монферрато оказался у любого другого хозяина, скажем, у герцога Гвасталльского. Не будем уж уточнять, что кое-какие права на наследование имелись у Савойского герцога. Но так как все же завещание существовало и указывался в нем Невер, всем прочим претендентам оставалось только уповать на то, что Священный и Римский Германский Император, чьим вассалом формально являлся Мантуанский герцог, не ратифицирует это наследование.

Испанцы, однако, проявили нетерпеливость и, не дожидаясь, пока император решится наконец высказать свое мнение, начали осаждать Казале: первая осада была проведена Гонсало де Кордова, а теперь, во второй раз, город обступила основательная армия испанских и имперских сил под командованием Спинолы. Французский гарнизон готовился оказать сопротивление в ожидании помощной французской армии, а она, занятая на северном фронте, один Бог знал, успевала ли подойти.

Примерно на такой стадии находились дела в середине апреля, когда старый Поццо выстроил на площадке напротив замка самых молодых из дворового люда и самых смекалистых крестьян своей деревни, роздал им снаряды, имевшиеся в оружейне, вызвал туда же Роберта и произнес следующую речь, заготовленную за ночь: «Слушайте, вот что я скажу. Наша с вами округа спокон века платила монферратскому маркизу, монферратцы уже давно заодно с герцогом Мантуанским, а этот герцог теперь господин Невер. Кто будет врать, что Невер не мантуанец и не монферратец, тому я лично дам кулаком в рожу, потому что вы бессмысленные твари и об этом рассуждать рылом не вышли. За вас думать буду я, так как я хозяин и хотя бы понимаю дело чести. Но поскольку вы эту честь в гробу видали, могу вам обещать попросту, что если

имперцы займут Казале, они вас пряниками не накормят, с виноградниками сотворят аллилуйю, а уж с вашими женами – лучше не думать. Так что вперед на защиту Казале. Я никого не принуждаю. Если есть среди вас ничтожные прохвосты, кто со мною не согласен, пусть скажет сразу, и я его вздерну на том дубу». Никто из присутствовавших на митинге, разумеется, не мог быть знаком с офортами Калло, где повешенные гроздьями свисают с мощных дубовых веток, но речь, по-видимому, проняла всех: они повскидывали на плеча мушкеты, пики, жерди с привязанными наверху серпами и закричали: виват Казале, гибель имперцам, мы победим.

«Сын мой, – сказал Поццо Роберту, когда они спускались с холма в долину, а немногочисленное войско сопровождало их сам-пеш, – этот Невер не стоит волоска из моего зада, а Викентий, когда удумал передать ему это герцогство, уже ослабел, видать, не только на передок, но и на голову, хотя на голову он не был силен и в хорошее время. Но теперь что отдано, отдано Неверу, а не этому козлу из Гвасталлы. Наш род – вассал законного хозяина Монферрато еще с Адама и Евы. И потому мы встанем за Монферрато и, если надо, за Монферрато поляжем, потому что, как Бог свят, не годится, что пока все ладно, то друзья до гроба, а когда кругом дерьмо, то будь здоров. Но лучше все-таки не дать себя укокать, потому зри в оба».

Переброска наших волонтеров от границы александрийской земли до крепости Казале была одной из самых долгих, какие может припомнить история. Старый Поццо разработал стратегию в некотором смысле безукоризненную. «Знаем мы испанцев, – сказал он. – Они не любят утруждаться. На Казале они пойдут долиной, югом, потому что с повозками, пушками и с барахлом удобнее идти по ровному. Значит, мы сразу после Мирабелло двинем на запад и будем пробираться холмами. Потратим на день-два больше, но дойдем без приключений и к тому же скорее, чем они».

К сожалению, у Спинолы имелись гораздо более затейливые соображения насчет того, как подготавливается осада, и притом что на юго-востоке от Казале он приступил к оккупации Валенцы и Оччимано, за несколько недель до того были переброшены к западу от города отряды герцога Лермы, Октавия Сфорца и графа Гембургского, около семи тысяч воинов, и было решено разом захватить крепости Розиньяно, Понтестура и Святого Георгия, с тем чтобы перекрыть возможную подмогу со стороны французской армии; при этом разворачивался на марше, форсируя реку По, и обхватывал клещами город с севера губернатор Александрии, дон Иеронимо Аугустин, и с ним пять тысяч человек. Все эти силы

были сосредоточены на той траектории, которую Поццо так благостно считал совершенно свободной. И своротить с этой дороги, после того как наш полководец узнал от местных поселян реальную обстановку, уже не представлялось возможным, потому что на востоке имперцев было по крайней мере столько же, сколько на западе.

Поццо сказал по-простому: «Все остается в силе. Я знаю округу лучше их; прошмыгнем между ногами, как суслики». Это означало, что пируэтов и поворотов предстояло довольно много. Они даже налетели на французов, отступавших из Понтестуры, которые успели там сдаться и под обещание не показываться в Казале были отпущены в сторону Финале, с наказом возвратиться во Францию морем. Команда де ла Грив наскочила на них в окрестностях Оттеля, и они чуть не постреляли друг друга, а потом Поццо услышал от их командира, что среди условий сдачи имелось и такое: весь хлеб из Понтестуры скупается испанцами и эти деньги выплачиваются осажденным жителям Казале.

«Вот что значит благородные люди, видите, детки, – сказал на это старый Поццо. – Воевать с такими одно удовольствие. Слава Господу, что сейчас не та война, как была у Карла с маврами, умри ты сегодня, а я завтра. Совсем иное дело христиане против христиан, тысяча чертей! Пока те пыхтят под Розиньяно, мы обойдем их с задницы, проскочим между Розиньяно и Понтестурой и послезавтра будем в Казале».

Сказавши эти слова в конце апреля, Поццо с людьми смог увидеть городскую стену Казале 24 мая в первой половине дня. Путь их оказался, по крайней мере в памяти Роберта, весьма увлекательным, то и дело они ретировались с дорог на тропки, а с тропинок просто в сторону и двигались напроход через посеvy; плевать, приговаривал Поццо, в войну все равно пашни не целы, не стопчем мы, так стопчут они. Пропитание добывалось в курятниках, на огородах и в амбарах. Все по правилам, комментировал Поццо, это земля монферратская и должна поддерживать защитников Монферрато. Мужик из Момбелло, который было запротестовал, велели всыпать тридцать палок, в назидание, что если-де в войну не поддерживать дисциплину, победишь не ты, а тебя.

Роберту эта война начинала казаться очаровательной. Путники рассказывали душеполезные новеллы, к примеру такие. Французский шевалье был ранен и пленен в крепости Святого Георгия. Он жаловался, что солдат ограбил его, отнял дорогой портрет. Герцог Лерма, об этом узнавши, велел вернуть портрет,

вылечить французского дворянина и отпустить в Казале, дав ему коня. В то же время, со всеми витками и поворотами, от которых полностью утрачивалась ориентация в пространстве, старый Поццо действительно вел свою компанию так, что военного дела, в собственном смысле, они не нюхнули.

Так что все вздохнули почти с облегчением и с радостью, как при начале давно ожидавшегося бала, когда в прекрасный день с верхушки недалней горы под их ногами открылся тот самый город Казале, огибаемый с севера, по левой их руке, широкой полосой По, которая прямо перед замком разбивалась двумя большими островами, делившими реку на рукава, и ощетиливавшийся на юге зубчатым массивом цитадели. Весело заставленный изнутри башнями и колокольнями, снаружи Казале представлялся совершенно неприступным со своими острями, шипами и бастионами, похожий на свирепого дракона с гравюры.

И впрямь было чем полюбоваться. Вокруг города солдаты в яркоокрашенных мундирах перетаскивали осадные машины от одной до другой палатки, утыканной флажками, при постоянном скаканьи всадников в оперенных шляпах. На зеленом полотне лесов, на желтизне полей вдруг нестерпимое блистание почти царапало взор, и это оказывались рыцари в серебряных кирасах, перемигивавшихся с солнцем, и не было понятно, куда же они несутся вскачь. Казалось, галопируют попросту ради картинки.

Во всей своей красоте, это зрелище совсем не понравилось Поццо, который проговорил: «Ребята, вот теперь, я думаю, мы подсели». И на вопрос Роберта о причине подобного пессимизма добавил, шлепнув того по затылку: «Не валяй дурочку, разве не видно, это имперцы, или ты думаешь, что казальцев такая куча и все гуляют снаружи города? Казальцы с французами сидят внутри обделанные от страха, потому что их не наберется даже двух тысяч, а тех голубчиков тысяч чуть ли не сотня, судя по тому, что я вижу на склонах холмов напротив». Поццо преувеличивал, войско Спинолы насчитывало только восемнадцать тысяч пехоты и шесть тысяч конных воинов, но и тех, что было, хватало и еще оставалось.

«Что будем делать, отец мой?» – спросил Роберт. «Не будем, – отвечал ему отец на вопрос, – проходить там, где стоят лютеране. In primis, ни холеры не понятно, что они там болбочут, а in secundis, они сперва тебя расстреляют, а потом спросят, по какому ты вопросу. Ищем, где народ похож на испанцев. С испанцами, как вам уже говорилось, дело иметь можно. И выбираем

повальяжнее. В таких делах первая забота – это какое у кого воспитание».

Был намечен участок, где развевались знамена христианнейших королей и где сверкало больше всего начищенных доспехов, и с верой в судьбу выступили туда. В общей суматохе довольно далеко им удалось продвинуться среди вражеского стана, никому не рекомендуясь, потому что в те времена униформу носили только отборные подразделения вроде мушкетерских, а все остальные постоянно путались, кто свой, кто чужой. Но когда уже осталось только перейти ничейную полосу, они налетели на аванпост и были остановлены офицером, который вежливо попросил их рассказать, кто они такие и куда направляются, в то время как за плечами у него нависала солдатня угрожающего вида.

«Синьор мой, – начал свою речь старый Поццо. – Окажите же любезность освободить для нас дорогу, поелику мы имеем нужду оказаться на месте, которое нам пристало, откуда сможем начать стрелять по вас и по вашим солдатам». Офицер стащил свою шляпу, погрузился в реверанс и размел перьями на два метра пыль вокруг себя и ответил:

«Seor, no es menor gloria vencer al enemigo con la cortesia en la paz que con las armas en la guerra»[3 - Сударь, не менее славно победить врага любезностью в мире, чем оружием на войне (исп.)]. А потом, на недурном итальянском: «Проходите, о сударь мой, и если одна четверть наших людей будет обладать половиною вашей отваги, мы победим. Да ниспошлют небеса мне отраду повстречаться с вами на ристалищном поле и да будет мне честь лишить вас жизни».

«Типун тебе на язык, язва в душу», – пробормотал через зубы Поццо, но так как требовалось что-то отвечать, он напряг все свои лингвистические таланты и из последних представлений о риторике выудил что-то вроде «Yo tambin!»[4 - И я тоже (исп.)]. Помахавши шляпой, он слегка ткнул коня шпорой, никак не более чем требовала театральность мизансцены, потому что надо же было дать подтянуться его пешеходным воякам, и все отправились к воротам.

«Видишь сам: с аристократами договориться...» – начал Поццо, наклонившись к сыну на ходу, и прекрасно сделал, что наклонился, потому что с бастиона жажнули из аркебузы. «Не стреляйте, идиоты, свои, свои, Невер!» – заорал он, подняв руки, и вполголоса Роберту: «Ну, а это наши. Грех говорить, но с испанцами спокойнее».

Они вступили за стены. Кто-то, по-видимому, уже оповестил об их появлении коменданта гарнизона, господина Туара. Это был давний товарищ по оружию старого Поццо. Объятия, поцелуи, ознакомление с обстановкой.

«Друг мой дорогой, – повел рассказ Туара. – По парижским реляциям выходит, будто у меня здесь имеется пять полков пехотинцев и в полку по десять рот, что составляет десять тысяч бойцов. Но у господина де Ла Гранж только пятьсот человек, у Монша двести пятьдесят, и всего я могу рассчитывать на тысячу семьсот пеших воинов. Еще у меня шесть рот кавалеристов, всего числом четыреста, правда, хорошо экипированных. Кардинал знает, что я имею меньше солдат, нежели должен был бы иметь, но он утверждает, что я имею три тысячи восемьсот. Я пишу ему, доказывая обратное, но Его Высокопреосвященство делает вид, что не понимает. Я был вынужден составить полк из наемных итальянцев любого разбора, корсиканцев, монферратцев, но позвольте сказать, вас не обидев, что солдаты они плохие, и добавлю, что пришлось даже приказать офицерам набрать отдельную роту из денщиков. Ваши люди вольются в итальянский полк под команду капитана Бассиани, он хороший солдат. Пошлем туда и молодого де ла Грива, чтобы, идучи под огонь, он получал команды на своем языке. Что до вас, драгоценный друг, присоединитесь к почтенным моим советчикам, пришедшим в лагерь, как и вы, по собственной доброй воле и образующим мою свиту. Город вам знаком, помощь будет неocenима».

Жан де Сен-Бонне, владелец местности Туара, высокий, темный, светлоглазый, в расцвете опыта – сорока пяти лет, вспыльчивый и отходчивый, был приятен в общении и любим войсками. Отличившись при обороне острова Ре от англичан, двором и Ришелье он вознагражден не был. Знакомые пересказывали его беседу с канцлером, хранителем королевской печати Марийяком. Канцлер сказал, что две тысячи французских дворян организовали бы оборону Ре не хуже Туара, а тот в ответ сдержил, что уж хранить-то печати любое число французских дворян способно не хуже Марийяка. Офицеры приписывали ему еще одну лихую фразу (но похоже, что ее автор на самом деле один шотландский капитан). Военный совет в Ларошели, и отец Жозеф (в то время знаменитый серый кардинал) тычет пальцем в карту и предлагает: «Переправимся тут». На что Туара холодно произносит: «Святой отец, жаль, что ваш палец не мост».

«Вот так, любезный друг, – продолжал Туара, обходя с ними бастионы и рукой обводя горизонт. – Сцена великолепна, и актеры недурны, приглашены из двух

империй и из многих синьорий. Против нас выведен даже флорентийский полк, под командованием, вообразите, Медичи. Казале как город, думаю, довольно надежен. Занимаемый нами замок позволяет держать под обзором реку, хорошо укреплен и окопан хорошим рвом. К стенам мы подвели насыпи, они помогут обороне. Что касается цитадели, в ней есть шестьдесят пушек. Бастионы по правилам искусства. Были слабые места, но их я усилил люнетами и батареями. Все это лучше некуда против лобовой атаки, но и Спинола не мальчик, вон какое копошеньё внизу. Роятся минные подкопы, и когда их доведут до стен, считайте, что открылись ворота. Чтоб не дать им работать, приходится воевать в открытом поле, хотя в поле мы не сильны. Как только неприятель подтащит ближе вон те пушки, начнутся бомбардировки. Тут выйдут на сцену новые герои – обыватели Казале, у которых испортится настроение. В этом отношении Казале совсем ненадежен. С другой стороны, население можно понять. Им дороже их город, чем синьор де Невер и французские лилии. Будем разъяснять, что савойцы и испанцы отберут их независимость и что, переставши быть столицей, они превратятся в захудалую крепостцу вроде Сузы, которую савойцы продадут за два скуди. Во всем остальном будем импровизировать, как положено в комедии дель арте. Вчера я выезжал с четырьмя сотнями людей в сторону Фрассинето, там скапливались имперцы, и мы их разогнали. Но пока мы занимались этим, неаполитанцы укрепились на том берегу. Я велел палить по ним из пушек, мы не прекращали несколько часов и, вероятно, разнесли там все на щепки, однако неаполитанцы не уходят. За кем перевес в результате дня? Клянусь Господом, не знаю, и Спинола не знает тоже. Я только знаю, что нам делать завтра. Видите вон те дома в логе? От них хорошо бы простреливались позиции врага. Мой шпион донес, что дома эти пусты; можно предположить, что там кто-то прячется; молодой друг Роберт напрасно делает возмущенное лицо, он пусть выучит первый постулат, что войны выигрываются через шпионов, и постулат второй, что шпион, предатель по натуре, с равным успехом предаёт тебя... Как бы то ни было, завтра отправляю пехоту на захват этих строений. Чем портить солдат бездельем, пусть поразомнутся. Рано волнуетесь, Роберт, это еще не ваш случай. Вот послезавтра полк Бассиани пойдет за реку. Видите куски стен? Это форт, который мы начали строить, пока нас не вышибли. Мои офицеры против, а я так думаю, что надо отбить, пока его не приспособили себе имперцы. Надо лупить их в долине, не давать копать ходы. Славы хватит на всех. Сейчас будет ужин. Осада еще в начале, и в провизии нет недостатка. Это впоследствии мы станем есть мышей».

### 3. Зверинец чудес света

[5 - Книга итальянского автора Томмазо Гарцони (1549–1589) «Il serraglio degli stupori del mondo» (опубл. в 1619).]

Избегнуть поедания мышей в Монферрато, с тем чтобы стать на «Дафне» будущей добычей мышей... В печали разрабатывая эту изящную противительность, Роберт все-таки решился на вылазку туда, откуда ночью донеслись непостижимые звуки.

Он пошел вниз с полюта, полагая, что корабельное устройство в точности подобно «Амариллиде» и, значит, под палубой обнаружится кубрик с дюжиной пушечных портов по бортам и с тюфяками или гамаками матросов. Сойдя по трапу от вахты в нижний отсек, пронизанный поскрипывавшим румпелем, он увидел дверь в переборке, но, как будто бы желая обведаться в глубинах судна, прежде чем идти на стычку с врагом, в эту дверь не пошел, а нырнул через люк в самую глубину трюма, где должны были храниться основные запасы еды. Вместо этого он увидел притиснутые друг к другу спальные места на дюжину человек. Значит, команда спала здесь, в кокпите; выходит, что верхний ярус предназначался для иных целей. Койки были в идеальном порядке. Если мор на корабле и имел место, то, должно быть, выживавшие убирали за вымиравшими, чтоб не сеялся страх... Но откуда явствовало, что моряки перемерли? – снова подумал Роберт, и снова эта мысль не успокоила его. Когда чума пустошит судно, это природная напасть, или, сказали бы многие богословы, – рука Провидения; а когда экипаж оставляет корабль в столь превосходном состоянии, это страшит втройне.

Разгадка тайны, возможно, ждала на второй палубе. Собравшись с духом, Роберт возвратился на прежний ярус и толкнул дверь, которая вела в пугавшее его место.

И тут объяснились решетки на опер-деке. Через сетчатый пол на гон-дек, как в церковный неф, искоса попадали лучи денницы, перекрещиваясь со светом, проходившим через пушечные порты и янтарно отблескивавшим от стволов.

Сперва Роберт не увидел ничего, только лезвия света, в которых скакали и подпрыгивали неисчислимыe частички, приведшие ему на память (до чего ж

он пространно тешится высокоучеными воспоминаниями, старается произвести впечатление на Прекрасную Даму, нет чтобы сказать в простоте!) те слова, которыми Диньский настоятель растолковывал ему зрелище световых водопадов, проливавшихся в кафедральный собор, одушевляясь в своей середине множественными монадами, семенами, нерасчленимыми естествами, каплями мужского ладана, спонтанно взрывающимися, и первоначальными атомами, затевавшими между собой свалки, потасовки, толкотню, бесконечно встречаясь и бесконечно разлучаясь; се есть наглядное подтверждение устройства нашей Вселенной, которая не из иного состоит, как из первичных тел, движущихся в пустоте.

И сразу вслед за этим, как будто в подтверждение мысли, что сей мир есть результат балета атомов, у него возникло ощущение сада, и он осознал, что, попавши сюда, подвергся действию полчищ запахов гораздо более крепких, нежели те, которые долетали прежде от берега через пролив.

Сад, покрытая оранжерея. Вот чем исчезнувшие обитатели «Дафны» заселили этот отсек судна, с целью переправить на родину цветы и деревья с островов, которые они открывали, и чтобы к ним проникали солнце, ветра и небесная влага. Сколько месяцев сумел бы корабль беречь свою зеленую добычу, не сожгла ли бы растения солью первая же морская буря, Роберт не знал, но несомненно: видеть эту рощу в добром здравии означало, как и с припасами, что попала она на борт недавно.

Цветы, кустарники и деревца были выкопаны с корнями и с почвой и рассажены по корзинам и ящикам, сделанным из чего нашлось. Многие короба растрескались. На полу была земля, вывалившаяся из полных с верхом плетенок, и в эту свилеватую землю метили молодые отростки, чтобы укорениться, и тем создавалось подобие райского сада, росшего прямо из досок мореплавательной «Дафны».

Солнце било не так сильно, чтобы заболели глаза у Роберта, но его света хватало играть на расцветке стеблей и листьев и заставлять раскрываться многие цветы. Роберт увидел раздвоенный лист, походивший на раковый хвост, на нем жемчужились белые почки; в другом, нежно-зеленом, расправлялся какой-то полуцветок из пучочка сливочных дуль. Тошнотворным смрадом повеяло от желтого уха, в которое как будто был воткнут кукурузный початок, за ним гирляндами вились фарфоровые раковинки, белоснежные, с розовыми каймами. Тут же торчала гроздь не то рожков, не то колокольчиков

и пованивала болотной гнилью. Он увидел цветок лимонной прожелти, оказавшийся при дальнейшем знакомстве переменчивым: абрикосовым на заре, темно-красным на закате; другой, шафрановый в сердцевине, переливался к окраине лепестков в лилейную белизну. Были и шероховатые плоды, он не решился бы их даже тронуть, но один упал, расселся, обнажил гранатовую глубь. Роберт попробовал на язык, но, по-видимому, не на тот язык, которым осязают вкус, а на тот, коим слагают песнопения, поскольку пишет: это кладезь меда, манна, загустелая в изобилии собственной отрасли, сокровищница изумрудов, изузоренная рубиновой зернию. Осмыслив это описание, рискну заявить, что Роберт дегустировал фигу.

Ни один из этих плодов и ни одно растение не было ему прежде ведомо, каждое порождалось будто фантазией художника, насмежавшегося над нормами природы, дабы изобрести убедительные неправдоподобия, мучительные услады и восхитительные лжи; как та корона беловатого пуха, что возвышалась с фиолетовой кокардой, походившая на сизую примулу, выставившую непристойный член, или это была маска, венчавшая седой цветок козлоторода? Кому мог прийти в голову кустарник, чьи листья, темно-зеленые по одной стороне, имели желтые и кармазинные разводы, а на другой стороне были цвета пламени и перемежались с листьями светлыми и мясистыми, вогнутыми, так что в них неизвестно с какого времени держалась влага последнего дождя?

Роберт под впечатлением обстановки не задавался вопросом, о каком дожде речь, если за последние три дня осадков не выпадало. Ароматы оглушали его и не удивляла необычайность. Не удивляло, что мокрый разваливающийся плод пах как испорченный сыр; что фиолетовый баклажан с дыркой в днище тархтел твердыми семечками, не овощ, а бубенец; что какой-то цветок с одной стороны был заострен и вытянут, как спица, а с другой – закруглен и толст. Роберт никогда раньше не видел плакучую пальму, она плакала, будто ива, воздушные ее корни лишь на некоторой высоте сплетались в стволы, а побеги свисали, изнеможенные собственной плодовитостью. Другое растение, незнакомое прежде Роберту, имело листья широкие, сочные, из которых каждый пронизывался железистой жилкой. Готовые блюда, подносы! Нерукотворные черпачки росли тоже неподалеку.

Гадая, в механическом ли он лесу или в земном рае, упрятанном в подпочвенной глубине, Роберт скитался внутри этого Эдема, среди одуряющих ароматов. Когда он рассказывает об этом Прекрасной Даме, он упоминает деревенские неистовства, сумасбродства огородов, где густолистые Протеи, где кедры

(а может быть, не кедры, а лимоны?) шалют от усладительного восторга... В его повести сад – это дрейфующий острог, населенный коварными автоматами, где за ограждением чудовищно свитых канатов бьются упрямые настурции, непокорные вскормленницы дикарской пуши... Он напишет об опиуме чувств, об атаке гнилостных испарений, которые нечистыми обаяниями завлекают жертву в края антиподов ума.

Сначала он приписал птичьему пению, доносящемуся с острова, свое чувство, будто выкрики пернатых излетали от цветов и от трав; но внезапно все тело его пошло мурашками от пролета нетопыря, почти зацепившего крылом его за щеку, и тут же пришлось отпрыгнуть от сокола, камнем падающего на добычу и вонзающего в летучую мышшь крючковатый клюв.

Продвигаясь по гон-деку и слыша далекие голоса птиц от Острова, удивляясь, как им удастся проникать через щели в бортах, Роберт постепенно приходил к убеждению, что птицы поют где-то близко. Не могло это слышаться с берега. Значит, какие-то другие птицы пели прямо за деревьями, в носовой части палубы, за переборкой у провиантской, откуда предыдущей ночью раздавался опасный шум.

Он наткнулся на какой-то ствол. Дерево, похоже, прошибло палубу и просунулось выше. Не сразу Роберт понял, что перед ним рангоутное дерево, то есть колонна мачты, и он стоит на самой середине судна, где шпор вращен в степс и мощно укоренен в кильсон. В этой точке ремесло и природа переплетались настолько тесно, что заблуждение нашего героя простительно. Еще добавим, что в точности на этом месте до его ноздрей доверяло какое-то смешение запахов, дух перегноя в сочетании со скотской вонью, что символизировало границу медленного перехода из оранжереи в хлев.

После этого, тронувшись от грот-мачты к носу, он попал на птичник.

Он не знал, как по-другому назвать скопище тростниковых клеток, пронизанных крепкими жердями, служившими для насестов, и населенных летучими существами, старательно угадывавшими по свету зари тот восход, от которого к ним просачивалось лишь нищенское подобие, и перекликавшимися, хотя пение и выходило непохоже на то, что в природе, с собратьями, свободно голосившими на Острове. Вольеры стояли на полу, висели на решетке верхней палубы; с этими сталактитами и сталагмитами гон-дек казался еще одним зачарованным гротом, где порхающие пернатые качали клетки, а те, подпрыгивая, рассекали потоки

солнечных лучей, и высвечивалась карусель цветов и блистательное мельтешение радуг.

До этого дня он, пожалуй, никогда по-настоящему не слышал пенье птиц. Можно сказать также, он ни разу по-настоящему их, птиц, не видел. По крайней мере столько разных сразу. И он не мог понять, этот ли облик свойствен им в природе, или же рука художника разрисовала их и изукрасила к пантомиме военного парада. Каждый воин и каждый член командования красовался своими боевыми колерами и собственным флагом.

Незадачливый Адам, он не располагал названиями для этих тварей. Разве только имена, что использовались на его родном полушарии: это аист, бормотал он, а это журавль, а вот куропатка... Но с таким же успехом можно было называть гусаком лебедя.

Птицы-прелаты с широкими кардинальскими шлейфами и с носами как алхимические сосуды топырили крылья цвета трав, раздувая пурпурные зобы и выпячивая голубую грудь, причитая почти по-человечьи; в другой стороне собирался многочисленный турнир, воины разминались, и приплюснутая сквозная кровля их решетчатого турнирного поля дрожала от наскоков и от жарко-огненных ударов, напоминавших, как штандарт в руках знаменосца плывет над строем, взмывает и полощется на ветру. Насупленные ходулочники на долговязых нервных конечностях, зажатые в тесноте, с негодованием гоготали, поджимали то одну, то другую ногу, подозрительно озирались, тянули шею, трясли чубатой головой. Только в одной, вытянутой в высоту клетке привольно чувствовал себя крупный капитан в голубом мундире, в карминовой, под цвет очей, манишке, с лилейным султаном на кивере, и ворковал, как голубок. Рядом с ним в маленькой клетке три пешехода мерили настил шагами, не имея крыльев, и подскакивали, испачканные комочки пуха: мышинные мордочки, усы у основания клювов. Клювы у них были горбатые, с крупными ноздрями, которыми эти уродцы обнюхивали червей, отщипывая от них куски. В одной клетке, вытянутой и закрученной, как кишечник, прохаживалась маленькая цапля с морковными лапами, с аквамариновой грудкой, с черными крылышками и лиловым носом, а за ней гуськом шествовали цыплята. Дойдя до окончания кишки, она со злобным карканьем пыталась разнести загородку, видимо считая ее случайным нагромождением побегов и корешков, а потом разворачивалась и маршировала обратно со всем своим выводком, который не мог догадаться, идти ли впереди или позади родительницы.

Роберт испытывал и возбуждение от открытия, и жалость к этим пленникам, и желание отворить клетки и посмотреть, во что превратится его готический собор, наполнившись этими геральдами воздушного войска, выпущенными из осады, к которой «Дафна», в свою очередь осаждаемая полчищами им подобных, их принуждала. Потом он подумал, что птицы голодны. В клетках валялись ошметки корма, а плошки и корытца, куда заливать воду, стояли пустые. Около клеток, однако, имелись мешки с зерном и нарубленная вяленая рыба. Все было заготовлено для того, чтобы птицы благополучно доехали до Европы, поскольку редкий корабль, сплавав к южной окраине земного шара, не привозит ко дворам и академиям Европы диковины новых миров.

Ближе к оконечности носа он обнаружил дощатый загон, где рылась в подстилке дюжина цесарок, или наподобие того. В любом случае кур с подобным оперением он в жизни не встречал. Они тоже, по всей видимости, испытывали голод, тем не менее куры отложили шесть яиц и торжествовали столь же бурно, как любые их товарки во всех частях света.

Роберт немедленно подобрал яйцо, продырявил скорлупу концом ножа и выпил яйцо через дырочку, как в годы детства. Другие яйца уложил за пазуху, а для успокоения матерей и плодовитейших отцов, хмуро трясших зобами, роздал корм и воду; то же самое во все прочие клетки, причем он спрашивал себя, какое провидение распорядилось прибыть ему на «Дафну», когда население птичника почти обессилело от голода. И впрямь, он провел на корабле вот уже две ночи; за птицами ухаживали в последний раз, самое позднее, днем раньше появления Роберта. Он попал на корабль будто опоздавший на праздник гость, пришедший к еще не убранному столу.

Впрочем, сказал он, с самого начала было ясно, что раньше кто-то здесь был, а теперь отсутствует. Были тут люди день или десять дней назад, для меня ничего не меняет, самое большее – усугубляет насмешку судьбы: ведь выбрось меня море на один только день раньше, я мог бы присоединиться к экипажу «Дафны» и отправиться с ними туда же, куда они. Или нет: погибнуть вместе с ними, если все они погибли. В общем, он перевел дух (по крайней мере дело было не в крысах) и подумал, что в его распоряжении теперь имеется курятник. Он отказался от идеи выпустить на волю самые благородные породы и решил, что, если его сидение окажется очень долгим, и эти породы могут представиться съедобными. Идальго, порхавшие под стенами Монферрато, тоже были благородные и разноцветные, однако мы по ним палили, а окажись наше там сидение очень долгим, вполне могли бы начать их есть. Кто воевал

в Тридцатилетнюю войну (скажу я сейчас, хотя ее прямые участники не называли ее так и, вероятно, даже не сознавали, что речь идет об одной очень долгой войне, в которой время от времени подписывался какой-нибудь мир), тот отучался от прекраснотуши.

#### 4. Наглядная фортификация

[6 - Французский военный учебник «La fortification demontre» (XVII в.).]

Отчего Роберту так часто приходит на язык Казале при описании его первых дней на корабле? Бесспорно, параллелизм напрашивается: осажден теперь, как осажден был тогда; но для человека его столетия как-то жидковато. Скорее уж, при подобии, его тем более зачаровывают несходства, изысканные противопоставления: в Казале он попал по желанию, дабы не допустить попасть других, а на «Дафне» оказался поневоле и мечтал только о том, чтоб выбраться. Но в наибольшей степени, думаю я, существуя в мире полутени, он тянулся памятью к истории раскаленных дней, прожитых под ярим светилом осады.

И еще. В начальную пору жизни Роберту выпало единственных два периода, которые поменяли его представления о мире и о человеческой жизни в мире. Это были несколько месяцев осады и несколько лет в Париже. Ныне он переживал третий возраст мужания, скорее всего последний, на излете которого зрелость приравняется, вероятно, уже к распаду. И он пытался расшифровать тайну этой поры, накладывая очертания прошлого опыта на современье.

Поначалу казальская жизнь сплошь состояла из вылазок. Роберт описывает эту жизнь своей адресатке, преображая стилем и будто желая ей показать: не способный захватывать упорную твердыню льда, палимую, но не растопляемую двух ее солнц пламенами, под лучами солнца иного он, невзирая ни на что, оказался в высшей степени способен сопротивляться тем, кто хотел захватить монферратскую твердыню.

Утром следующего дня после приезда гривской команды Туара отправил нескольких офицеров, с карабинами на плече, поглядеть, что там поделявают неаполитанцы на холмах, захваченных накануне. Офицеры подъехали слишком

близко, возникла легкая перестрелка, и молодой лейтенант Помпадурского полка был застрелен. Товарищи доставили его тело в полк, и так Роберт увидел первого убитого в своей жизни. Туара отдал приказ захватить строения, о которых говорилось на день раньше.

С бастионов было удобно наблюдать вылазку десяти мушкетеров, раздвоивших свой ряд на скаку, чтобы окружить и захватить первый дом. Из крепости тем временем было пущено ядро, пролетевшее над их головами и сорвавшее с дома крышу: оттуда, как насекомые, вылетели испанские солдаты и побежали наутек. Мушкетеры дали испанцам ретироваться, захватили строение, забаррикадировались в нем и повели оттуда будоражащий огонь по склону взгорья.

Та же операция требовалась и в отношении прочих строений. С бастионов было прекрасно видно, что неаполитанцы выкапывают ямы, обкладывают фашинами, хворостяными снопами, причем ямы не опоясывают холм, а тянутся по равнине к замку. Роберту объяснили, что это входы в минные галереи, которые доводят под землей до стены, а там набивают порохом. Нельзя давать неприятелю закапываться под землю. Вот и вся война. Рушить в самом начале подкопы противника, а самим по возможности вести в его сторону контрподкопы и дожидаться подхода подмоги или полного расхода вооружения и припасов. Осада состоит в этих двух занятиях: гадить неприятелю и тянуть время.

На следующее утро, как и ожидалось, занимали редут. Роберт в обнимку со своей пищалью оказался в ораве наемников из Лу, Куккаро, Одаленго, соседствовавших с бессловесными корсиканцами, всех скопом набили в лодку и перевезли через По, когда две роты французов уже сошли на неприятельскую сторону. Туара и штабные наблюдали за операцией с правобережья, старый Поццо махнул сыну и предупредительно поднял палец: действуй, дескать, с головой.

Три роты захватили безлюдный форт. Он не был доделан, и начальная постройка потихоньку распадалась. День прошел в затыкании дырок в стенах. Укрепление было окружено хорошим рвом, за ров отправили нескольких впередсмотрящих. Наступила ночь, но такая светлая, что дозорные спокойно дремали, а офицеры их не одергивали в уверенности, что нападения не будет. Тут-то и раздалась команда «на приступ!» и налетели конные испанцы.

Роберт, приставленный капитаном Бассиани сторожить брешь, заделанную мешками с соломой и сеном, не успел уразуметь, как это все происходило. На крупе коня у каждого всадника находился мушкетер, и, доскакав до укреплений, лошади помчались по кругу вдоль канавы, в то время как стрелки на ходу убирали немногих часовых, а мушкетеры прыгали с коней и катились кубарем в глубину рва. Очистив место, кавалеристы полукругом сгруппировались напротив входа, загоняя защитников за стену непрерывным огнем, мушкетеры невредимые подобрались к воротам и к разбитым участкам стен.

Итальянская пехота, выставленная для караула, покидала оружие и в ужасе разбежалась, покрывая себя бесчестием; но и французский гарнизон повел себя не лучше. От начала атаки до взятия стен форта прошло только несколько минут, и для встречи атакующих, уже прорвавшихся за стены, защитники форта не успели даже вооружиться.

Неприятели, пользуясь внезапностью, резали кого попало. Их было столько, что в то время как одни убивали, другие обирали убитых. Роберт, выстреливши в набегавших пехотинцев, с болью отдачи в плече перезаряжал ружье, когда налетела кавалерийская атака и копыта коня, перескакивавшего стену, сшибли Роберта и обрушили ему на голову всю кладку. Это было его счастье; под мешками он спасся от смертоносного налета и теперь из соломенного укрытия видел, как нападавшие приканчивали упавших, отрезали пальцы ради колец и кисти рук ради браслетов.

Капитан Бассиани, чтоб оборонить честь своего бегущего войска, доблестно отбивался, но его окружили и принудили к сдаче. С того берега заметили, что происходит, и полковник Ла Гранж, незадолго перед этим вернувшийся с форта с поверки, рвался на спасение гарнизона, но офицеры его удерживали до подхода городских подкреплений. С правого берега отчаливали какие-то лодки, в то время как, разбуженный дурною вестью, к месту их отплытия галопом мчался Туара. Было уже понятно, что французы в форте разбиты и что единственная им помощь была – прикрывать навесным огнем отход остающихся в живых.

В этой суматохе старый Поццо метался между штабными позициями и лодочным причалом, куда приставали спасавшиеся, но Роберта не было среди этих. Когда увиделось, что новых лодок уже не будет, он прорычал «О Господи!». После этого, не нуждаясь ни в какой лодке, зная законы речных течений, двинул коня

прямо в воду чуть повыше первого острова, молотя шпорой. Конь пересек реку в месте брода, даже не поплывши, выскочил на другой берег, и Поццо с поднятою шпагой не разбирая дороги бросился на врага.

Несколько мушкетеров противника двинулись ему навстречу при светлеющем небе, не понимая, зачем этот одинокий всадник. Тот пролетел сквозь их строй, уложив по меньшей мере пятерых яростною рубкой, навстречу двум конникам, и на вздыбленной лошади отклонился в сторону, избегнув удара, и откачнулся в другую, шпага его описала в воздухе круг, и левый кавалерист осел на круп, в то время как его кишечник выползал на сапоги, а правый так и застыл с вытаращенными глазами, лоя рукою ухо, которое, не вполне оторванное от щеки, повисло ему ниже бороды.

Поццо был уже около форта, в котором захватчики, занятые грабежом последних дорубленных со спины, не умели понять, вообще откуда он взялся. Он влетел внутрь укреплений, выкрикивая имя сына, заколол четырех человек, работая как мельницею шпагой и разя в четыре стороны света; Роберт из-под своей соломы завидел его еще в отдалении и узнал прежде отца Пануфли, отцовского коня, с которым игрывал еще ребенком. Тогда он всадил два пальца в рот и свистнул условным свистом, который коню был издавна привычен. И верно, тот уперся, насторожил свои уши и поскакал с отцом по направлению к Робертовой брешу. Поццо увидел Роберта и крикнул: «Нашел место сидеть! Прыгай на лошадь!» Роберт схватился за его пояс, и Поццо повернул коня к переправе, бормоча: «Наказание, вечно за тобой надо бегать черт-те где». Пануфли галопом неся обратно к реке.

Какие-то грабители поняли, что этот человек явно не должен здесь находиться, показывали пальцами и кричали. Офицер со вмятиной на кирасе в сопровождении трех солдат попробовал перекрыть ему путь. Поццо увидел, хотел обскакать и вдруг, натянув поводья, вскрикнул: «Вот врут про судьбу!» Роберт выглянул из-за него и узнал в офицере того испанского гранда, который позавчера пропустил их в крепость. Тот тоже узнал в лицо встречных, взор его блеснул, он нацелил клинок.

Старый Поццо мгновенно перебросил шпагу в левую руку, выхватил правой пистоль и протянул руку в сторону испанца, который, сбитый с толку маневром, с разбегу оказался почти под его рукой. Но Поццо стрелял не сразу. Он нашел время произнести: «Прошу прощенья за стрельбу, но так как вы защищены кирасой, это извинительно...» Нажал курок и всадил тому в рот пулю. Солдаты,

видя убийство командующего, побежали, и Поццо вернул пистолет на место за пояс со словами: «Пора обратно, пока они не потеряли терпенье... Пошел, Пануфли!»

В облаке пыли пролетели они по равнине, в ореоле брызг перенеслись по речному броду, а кто-то издали палил и палил, стараясь попасть им в спину и не попадая.

На правом берегу их встретили плеском в ладоши. Туара сказал: «Trs bien fait, mon cher ami» – и потом Роберту: «Ла Грив, сегодня бежали все, вы остались на посту. Добрая кровь сказывается. Вам незачем быть в этой ватаге трусливых. Займете место у меня в свите».

Роберт поблагодарил и, сходя на землю с лошади, пожал руку отцу, чтоб передать ему свою благодарность. Поццо рассеянно возвратил пожатие и сказал: «Очень мне жаль этого господина испанца, он был дворянин. Сволочная война. С другой стороны, запомни себе науку, любезный сын: уж как он тебе ни размил, но если он хочет послать тебя на тот свет, пусть сдохнет он, а не ты. Мне кажется так».

Уходя за городскую стену, отец, как слышалось Роберту, продолжал бормотать «Я за ним не гонялся...» и приговаривать себе под нос.

## 5. Лабиринт света

[7 - Книга чешского мыслителя Яна Амоса Коменского (1592–1670) «Labyrint sveta a rj srdce» («Лабиринт света и рай сердца», 1623, опубл. в 1631).]

Похоже, Роберт вспомнил эту сцену в сыновьей печали, улетающей мыслью в счастливое время, когда был у него защитник, вызволял из боевой бучи, а следом идут другие воспоминания, и Роберт не в силах от них отбиться. Тут дело не в автоматизме памяти. Я уже говорил, что Роберт переплетает свою раннюю историю с рассказом о жизни на «Дафне», как будто выслеживая связи, причины и знаки судьбы. Думаю, казальские реминисценции для него – ключевые моменты эры, когда он, юный, постепенно обнаруживал, что мир

выстроен по законам причудливой архитектуры.

С одной стороны, оказаться в подвешенном виде между небом и океаном выглядело как весьма логичный результат трех пятилетних прогуливания по саду расходящихся троп. С другой стороны, именно в оглядывании былых невзгод он находил утешение сегодняшним бедам, как будто крушение сна отбросило его в земной рай, который он знал в родном имении Грив и откуда удалился, вступивши в стены города в осаде.

Роберт обирал вшей уже не в солдатской казарме, а в прихожей у Туара, среди благородных особ, прибывших из Парижа, и узнавал об их выходках, минувших битвах, слышал их легковесные, блистательные беседы. С первого вечера он стал понимать, что осада Казале была не совсем то, к чему он готовился.

Он шел в Казале для увенчания рыцарской мечты, сформированной из гривских чтений. Иметь благородное рождение и наконец обрести оружие, стать паладином, чьей жизни цена – слово короля, спасение дамы. Он прибыл и вступил в священное воинство, это оказался гурт нерадивых мужиков, готовых смыться при первой трепке.

Затем его возвысили до совета неустрашимых, ввели как равного. Но он знал, что оказался неустрашимым по недоразумению, не сбежавши оттого, что испугался хуже бежавших. В довершение зол, когда соратники, по отбытии Туара, запоздно чесали языки, Роберт убеждался, что и казальская война составляла собой только звено бессмысленной цепочки.

Действительно, дон Викентий Мантуанский помре, отписав герцогство Неверу, но повидать его последним кто-нибудь другой, и вся история повернула бы на другой галс. К примеру, Карл Иммануил тоже имел права на Монферрато через одну из племянниц (вся эта знать женилась между собой) и зарился на маркизат, тот торчал как шип под боком у его герцогства, подходя одним выступом почти к Турину. Гонсало де Кордова, зная это и играя на амбициях савойского владетеля, мечтающего ущучить французов, пригласил Карла Иммануила драться за Монферрато заодно с испанцами, а потом поделить. Император, у которого хватало неприятностей в остальной Европе, не давал соизволения на поход и не высказывался ни за, ни против Невера. Гонсало с Карлом Иммануилом ждали-ждали, а потом начали захватывать Альбу, Трино

и Монкальво. Император, пускай незлобивый, дураком не был и немедля наложил секвестр на Мантую, посадив туда имперского комиссара.

Затяжка с решением нервировала всех претендентов, однако Ришелье воспринимал ее как персональный афронт в адрес Франции. А может быть, ему было удобно так воспринять. Но Ришелье тоже не действовал, поскольку еще не окончил осаждать протестантов в Ларошели. Испания одобряла это вымаривание еретиков; вдобавок Гонсало использовал заминку французов, чтоб пойти с восемью тысячами солдат на осаду Казале, а там защитников было чуть более двухсот. Так получилась первая казальская война.

Поскольку, однако, император не собирался никому потворствовать, до Карла Иммануила дошло, что положение деликатное, и, продолжая сотрудничать с испанцами, он завел секретные переговоры с Ришелье. Ларошель пала, Ришелье получил от мадридского двора поздравления с этой великолепной викторией истинной веры, ответил благодарностями, привел в порядок армию и, с самим Людовиком XIII во главе, двинул ее через Монженев и развернул в феврале двадцать девятого года в окрестностях Сузы. Карл Иммануил рассудил, что, играя на двух столах, он потеряет не только Монферрато, но и Сузу, и решил продать то, что у него отнимали: предложил обменять Сузу на какой-нибудь французский город.

Сотоварищ Роберта с хихиканьем рассказывал, как Ришелье саркастически велел спросить у герцога, что тому слаще, Орлеан или Пуатье. Французский штабной офицер явился к начальству сузанского гарнизона и велел готовить апартамент для короля Франции. Командующий савойцев, тоже не лишенный остроумия, отвечал, что его высочество герцог несомненно будет в восторге, если погостит его величество король, но поелику его величество король грядет в такой большой компании, да будет позволено прежде узнать мнение его высочества герцога. С не менее обворожительной иронией маршал Бассомпьер, гарцуя на снегу под стенами города и помавая шляпой, доложил своему монарху, что скрипачи уже готовы, плясуны собрались у ворот и ожидается позволение начинать бал. Ришелье отслужил полевой молебен, французская пехота пошла в атаку, и Сузу взяли.

При подобном складе Карл Иммануил решил, что Людовик XIII для него приятнейший постоялец, сам приехал оказать ему хозяйские почести и просил, если можно, не утруждаться под Казале, потому что тем малым делом уже занимается он сам, а вместо этого помочь ему завоевать Геную. На что он был

обходительно попрошен не говорить бессмыслицу и ему в руку было вложено здоровенное гусиное перо для росчерка под договором, согласно которому французы получали право распоряжаться Пьемонтом; в качестве чаевых ему отходил городок Трино и вдобавок мантуанскому герцогу вменялось в обязанность выплачивать Карлу Иммануилу годовые суммы за Монферрато. «Таким образом Невер, – подытоживал рассказчик, – чтобы получить свое назад, платил квартирные тому, кому город никогда не принадлежал!»

«И ведь платил же, – хохотал другой за столом. – *Quel con!*»

«Невер всегда платится за свое безумие, – произнес аббат, которого Роберту отрекомендовали как духовника Туара. – Невер просто сумасброд, воображает, что он святой Бернард. Что ему предназначено созвать христианских царей на новый крестовый поход. А мы живем в пору, когда христиане убивают христиан, кому сейчас дело до неверных. Господа казальцы, если в вашем богоблагодатном городе уцелеет хоть один кирпич, будьте уверены, что ваш новый владетель поволочет вас всех в Иерусалим!» И аббат довольно хмыкал, поглаживая светлые ухоженные усы, а Роберт размышлял: вот, нынче утром мне приходилось умирать за безумца, и безумцем его считают оттого, что он мечтал, как и мне мечталось, возродить времена прекрасной Мелисенды и Прокаженного Короля.

То, что случилось после, тоже не помогло Роберту разобраться в смысле эпопеи. Гонсало де Кордова, когда его предал Карл Иммануил, понял, что война проиграна, признал Сузанское соглашение и отвел свои восемь тысяч пешников в Миланскую область. Один французский гарнизон обосновался в Казале, другой обосновался в Сузе, остатки армии Людовика XIII возвратились за Альпы и принялись ликвидировать последних гугенотов в Лангедоке и в долине Роны.

Но никому из этих господ в голову не приходило блюсти присягу, и за столом говорили об этом как об обычном деле. Многие одобрительно кивали: «*La Raison d'Etat, ah, la Raison d'Etat*». Ради этого государственного интереса Оливарес (Роберт понял, что это у испанцев свой Ришелье, только меньше ласкаемый судьбою), видя, что Испания в этой истории не на высоте, бесцеремонно заместил Гонсало Амвросием Спинолой и выступил с претензией, будто обида, нанесенная Испании, ущемила Католическую Церковь. «Пустое, – отмахивался аббат. – Урбан VIII одобрил наследование Невера». Роберт же спрашивал себя, какое отношение могут иметь к папе вопросы, никак не сопряженные с католической религией.

Тем временем император (на которого давил и жал Оливарес) припомнил, что Мантуя все еще под комиссарским мандатом и что Неверу не положено ни платить, ни не платить за то, что ему пока не дадено; императорское терпение тут вдруг лопнуло, и он отрядил двадцать тысяч человек народу на взятие городишки. Папа же, видя, как наемные вояки-протестанты гуляют по Италии, немедля взвидел опасность нового ограбления Рима и перевел свою армию на мантуанскую границу. Спинола был честолюбивее и решительнее, чем Гонсало; он опять обложил Монферрато, на этот раз крепко. Вывод Роберта был такой: хочешь избежать войн, первое дело – не подписывай мирные договоры.

В декабре 1629 года французы снова высунулись из-за Альп, Карл Иммануил по условиям трактата должен был бы их пропустить без разговоров, а он, хорошенькая лояльность, снова запритязал на Монферрато и еще на шесть тысяч французских солдат для осады Генуи, далась ему эта Генуя. Ришелье, считавший Карла Иммануила подколотой гадюкой, не ответил ни да ни нет. Один капитан, расфуфыренный, это в Казале-то, как на парижский праздник, вспоминал февраль предшедшего года. «Помню, друзья, денек, что твой бал у королевы! Не было музыки, так трубили фанфары. Его величество при войсковом эскорте скакал перед Турином, черный камзол, золотое шитье, с пером на шляпе и в начищенной кирасе!» Роберт ожидал, воспоследует рассказ о великом штурме, но нет, и на этот раз имел место только променад и фронт. Король не стал атаковать, он неожиданно развернул строй и отправился на Пинероло, и завоевал Пинероло, вернее, вернул себе кровное, учитывая, что за несколько сотен лет до того город принадлежал французам. Роберт смутно представлял, где этот Пинероло, и не понимал, с какой стати надо было его штурмовать, чтоб освободился Казале. «Разве нас осаждают в Пинероло?» – недоумевал он.

Папа, обеспокоенный новосоздавшимся положением, послал представителя к Ришелье требовать город обратно савойцам. За столом у Туара долго перемывали косточки этому представителю, некоему Юлию Мазарини: сицилиец! римский простолудин! Мало этого, горячился аббат, даже внебрачный сын какого-то никому не известного мещанина! Капитаном его назначили Бог ведает с какой стати. Услужает папе, но из кожи лезет, чтоб полюбиться Ришелье, и тот в нем уже души не чаёт. С ним надо поосторожнее. Вдобавок он едет или уехал в Регенсбург, к черту на кулички, и там почему-то должны вершиться судьбы Казале. Там, а не тут, где все подкопы и контрподкопы.

Тем временем, поскольку Карл Иммануил норовил оставить без довольствия французское воинство, Ришелье наложил лапу еще и на Аннеси и на Шамбери, и теперь французы резались с савойцами под Авиньяной. Партия игралась неспешная, имперцы показывали когти Франции, двигаясь вглубь Лотарингии, Валленштейн шел на подмогу Савоие, вдруг в июле несколько человек имперцев, подплывши на баржах, перекрыли шлюзы у Мантуи, войска в полном составе набились внутрь города, грабили город семьдесят часов, разнесли герцогский дворец по кирпичикам, а в качестве личного сюрприза папе обчистили все церкви и соборы в городе. Да, именно те ландскнехты, с которыми Роберт уже встречался по дороге в Казале. Они теперь явились пособлять осадчику Спиноле.

Французская армия все еще была занята на севере, и никто не мог бы сказать, успеет ли она до того, как Казале захватят. Оставалось уповать на небеса. Таков был вывод аббата: «Господа, политическая мудрость в том, чтоб использовать людские ресурсы, как будто нет в запасе божеских, и в то же время божеские, как будто людские исчерпались».

«Ну, нам-то придется обходиться божескими», – произнес один собеседник. Тон его был малопочтителен, и, поднимая кубок, он расплескал часть вина на камзол аббата. «Сударь, вы облили меня вином!» – вскричал аббат, бледнея. Бледнеть было положено, гневаясь, в те времена. «Ну а вы сделайте вид, – отвечал дерзкий дворянин, – будто это случилось при виносвящении. Какая разница, что то вино, что это».

«Месье де Сен-Савен! – выкрикнул аббат, вскакивая и хватаясь за шпагу. – Не в первый раз вы бесчестите собственное имя, оскорбляя Нашего Господа! Лучше бы вы, да простятся мне такие слова, оставались в Париже и бесчестили женщин, как заведено у вас, пирронианцев!»

«Ну, ну, – парировал Сен-Савен, уже заметно опьяневший, – мы, пирронианцы, когда ходили по ночам петь серенады милым дамам и брали в компанию своих дружков, тех, у кого крепкий характер и кто любит пострелять, прекрасно знали, что если дама не выглядывает с балкона, значит, ее нагревает в постели семейный духовник».

Аббат потянул шпагу из ножен, присутствующие офицеры удержали его. Сен-Савен не в себе от вина, успокаивали они аббата, простим человеку, он храбро

сражался в эти дни, простим из уважения к памяти погибших.

«Сдаюсь на вашу просьбу, – сказал аббат и направился к выходу из зала. – Сен-Савен, рекомендую вам употребить эту ночь на заупокойную молитву по павшим друзьям, и я сочту себя удовлетворенным».

За ним закрылась дверь. Сен-Савен сидел как раз рядом с Робертом. Он приобнял Роберта за плечо и произнес: «Ни псы, ни речные птицы не устраивают такой базар, как мы с нашими заупокоями. К чему суетиться и хлопотать, воскрешать этих усопших?» Он с ходу осушил свой кубок, выпрямил палец, будто для назидательного поучения: «Милый, гордитесь. Сегодня вы чуть было не поимели геройскую смерть. Ведите себя и дальше так же бездумно. Помните, душа умрет с вашим телом. Поживите себе на радость и умирайте на здоровье. Люди такие же твари, как все твари, такие же порождения материи, только защищены похуже. Но поскольку, в отличие от прочих тварей, мы знаем, что обязаны умереть, то порадуемся жизни, которая досталась нам нечаянно и случайно. Мудрость подсказывает нам, что время следует проводить в питии и душевной беседе, как подобает благородным господам, и презирать малодушных. Сотоварищи! Жизнь в долгу перед нами! Гнием в этом Казале. Опоздали родиться, когда можно было так чудно развлекаться при дворе короля Генриха, когда в Лувре были ублюдки, обезьяны, шуты, придурки, карлики и жонглеры, музыканты и поэты и король развлекался с ними. А сейчас иезуиты, похотливые, как козы, изничтожают любого, кто читает Рабле и латинских поэтов, и требуют, чтобы все ходили по струнке и давили гугенотов. Господи Боже, война превосходная штука, но я желаю драться для собственного удовольствия, а не из-за того, что мой противник кушает мясо в пост. Язычники были нас умнее. У них тоже было три бога, но по крайней мере их матушка Кибела не требовала верить, что, родивши их, осталась непорочной».

«Помилуйте», – заикнулся Роберт, а прочие захохотали.

«Помилуйте, – передразнил его Сен-Савен, – первое свойство благородного человека – это презрение к религии, которая пугает нас самой естественной на свете вещью, а именно смертью, отвращает от самой милой на свете вещи, то есть от жизни, и потчует перспективой попасть на небо, где вековечное блаженство уготовано только планетам, и они на самом деле не подлежат ни наградам, ни наказаниям, а только своему постоянному движению в объятиях пустоты. Будьте сильны, как мудрые мужи древних греков, и взирайте на смерть твердо, без боязни. Иисус как-то чересчур исстрадался, ее ожидая. С чего ему

было так беспокоиться, в сущности, если он знал, что все равно воскреснет?»

«Довольно, господин де Сен-Савен, – оборвал его капитан, беря под руку. – Не стоит скандализировать юного друга, он еще не знает, что современная мода в Париже требует безбожия. Он может воспринять все это слишком серьезно. Вы тоже идите спать, господин де ла Грив. Знайте, что Господь до того великодушен, что извинит даже и Сен-Савена. Как говорил один богослов, силен король, он все разрушает, сильнее женщина, она все получает, но еще сильнее вино, оно заливают мозги».

«Вы недоцитировали, любезнейший, – уперся Сен-Савен, в то время как два однополчанина под руки вытаскивали его из зала, – эти слова якобы произносит Язык и добавляет: но сильнее всего истина, и я вам ее говорю. Вот и мой язык хотя в данный миг ворочается с трудом, но молчать не будет. Умный в этом мире должен побивать неправоту не только ударами шпаги, но и усилиями речи. Послушайте, ну как вы можете называть великодушным божество, которое обрекает нас на пожизненные муки из-за того, что когда-то на какую-то минуту рассердилось на наших прадедушек? Мы должны прощать ближнему, а Господь Бог что же? И мы еще обязаны любить такого немилостивца? Аббат ругает меня пирронианцем. Пусть мы пирронианцы, но это означает – те, кто пытается утешить жертв мошеннического обмана. Мы когда-то с тремя друзьями одаривали дам непристойными четками. Видели бы вы, как эти дамы полюбили читать молитвы!»

Общество расхохоталось, и он ушел под слова офицера: «Не Господь, так мы простим ему длинный язык, хотя бы ради его длинной шпаги». Роберту сказали: «Старайтесь с ним дружить и слишком сильно не спорьте. Он заколол больше французов в Париже из-за богословских разногласий, нежели испанцев сейчас на нашей памяти тут, в Монферрато. Не хочется оказываться рядом с ним во время мессы, но приятно иметь его у плеча на поле боя».

Войдя таким путем в область первых сомнений, Роберт столкнулся и с другим сомнением сразу вслед за этим. Он пошел в далекое крыло замка, где провел с монферратцами первые ночи, за своим мешком. Но довольно скоро заблукнул в двориках и коридорах. По какому-то из коридоров он торопился, понимая, что сбился с дороги, и углядел на торцовой стене зеркало, черное от грязи. В зеркале отражался он; но пробежав коридор почти до упора, обратил внимание, что этот «он» почему-то в пышном испанском мундире и волосы

собраны в сеточку. И более того, зеркальный портрет не смотрел прямо ему в лицо, а отворотился в сторону и утек в боковой проход.

Значит, не зеркало это было, а окно с запыленными стеклами, выходившее в соседний двор на портик над лестницей. Выходит, видел он не себя, а кого-то другого, невероятно похожего, чьи следы тут же и утерялись. Конечно, в голову ему сразу пришел Феррант. Феррант захотел сопроводить его в Казале. Может, он записался в соседнюю роту того же самого полка. Или в другом французском полку, пока Роберт в вылазке рисковал жизнью, этот Феррант получал от войны неведомо какие интересы.

Однако он был уже в том возрасте, Роберт, когда юношеские фантазии о Ферранте вызывали у него улыбку; обдумав свое впечатление, он довольно быстро убедил себя, что ему встретился кто-то отдаленно похожий, вот и вся недолга.

Он вытеснил из памяти этот случай. Много лет он сосуществовал с невидимым братом, в этот день чуть не поверил, будто видит невидимого, но в том-то и загвоздка, убеждал он себя (стараясь усилиями логики противостоять ощущениям сердца), что он его видел и, значит, он не плод воображения, а так как Феррант плод воображения, виденный им Феррантом быть не может.

Преподаватель логики возразил бы против этого паралогизма, но на том этапе Роберт удовольствовался им.

## 6. Великое искусство света и тени

[8 - Книга римского иезуита, немца, отца Атанасиуса Кирхера (1601–1680) «Ars Magna Lucis et Umbrae» (1645). (См. также прим. к назв. глав 33 и 39).]

Посвятивши письмо воспоминаниям о начале осады, Роберт нашел несколько бутылок испанского вина в каюте капитана. Мы не можем его порицать за то, что, раскочегарив печку и пожарив яичницу с копченой рыбой, он откупорил бутылку и устроил себе царский ужин за столом, накрытым по этикету. Если в потерпевших ему предстояло оставаться долго, чтобы не одичать, следовало

держаться изящных привычек. Он не забывал, как в Казале, когда раны и нездоровье превращали и офицеров в жертвы стихии, господин Туара требовал, чтоб по крайней мере в столовой каждый памятовал науку, обязательную в Париже: «Являться в незасаленной одежде, обчищать до обеда бороду с усами, не лизать пальцы, не лакать с хлюпом, не плевать в миску, не сморкать в скатерть. Мы с вами не германцы, господа офицеры!»

Он был разбужен петушьим криком, но провалялся еще долго. Так что когда, выглянув на галерею, он опять притворил от солнца штору, оказалось, что он поднялся позднее, чем накануне, и заря уже сменяется восходом. За холмами ясно рисовался розовый край неба в облачной присыпке.

Поскольку через несколько минут первые лучи должны были осветить береговую кромку до невыносимой глазу яри, Роберт решил глядеть туда, где солнце еще не торжествовало, и по балюстраде перетащился на противоположный бок «Дафны», повернутый на запад. Причудливый темно-синий абрис за несколько минут на его глазах расщепился на две горизонтали: щетинистая зелень и гребешки пальм наливались сияньем, а гористый фон оставался мрачен и удручен угрюмыми купами ночных туч. Эти купы постепенно, чернея своею сердцевинкой, расслаивались на краях белизной и розой. Солнце будто отказывалось лупить по тучам в упор и уходило им за спины, а они, хоть и уступая свои окраины игривым световым волнам, в середине хмурились и набухали и не хотели расплавляться в толще неба, преображая небо в доподлинное отражение моря, волшебное светлое, пронизанное яркими крапинами, как будто населенное стаями рыб, снабженных светящимися плавниками. Минуло, впрочем, совсем немного, и под натиском света тучи подались, разродились над лесовыми верховьями, и насели на сушу, и оплыли по склонам, как горки взбитых сливок, разжиженных понизу, хотя сохраняющих плотность на маковинах холмов, где, доходя до снежного и ледяного состояния, они грибообразно высывались в воздух и разлетались в нем ледяными искрами, сладко-лакомыми взрывами среди кисельных берегов.

Того, что видел сейчас Роберт, хватило бы для оправдания всего кораблекрушения. Не столько в силу наслаждения, доставляемого зрелищем этой текучей трансформации пейзажа, сколько благодаря тому свету, который проливался этим светом на рассуждения о свете, слышанные от Диньского каноника.

До той минуты Роберт, надо сказать, нередко задавал себе вопрос, не снится ли все это. То, что происходило с ним, обычно с людьми не происходило, в крайнем случае возвращало его к романам, читанным в отрочестве; походили на порождения сна и корабль, и те существа, которые ему встречались. Из той материи, из которой состоят сны, были вытканы тени, окружавшие его в последние три дня, и по холодном рассуждении он отдавал себе отчет, в частности, и в том, что даже цвета, которыми он любовался в зеленом отсеке и в птичьем вольере, выглядели ослепительно лишь для его очарованного взора, а в реальности просвечивали сквозь патину старинной лютни, которой был покрыт любой предмет на «Дафне», и этим медовым налетом были облиты и балки, и клепки выдержанной древесины, протравленные маслами, смолами и лаками... Не порождение ли сна и тот великий театр небесного надувательства, который, ему казалось, будто наблюдается на горизонте?

Нет, ответил себе Роберт, боль, которую этот свет причиняет моим очам, доказывает, что я не сновидствую, а вижу. Мои зрачки побиваются ураганом атомов, которые, как с крупного военного корабля, обстреливают меня, долетают с берега и представляют собою не что иное, как прикосновение к глазу всей материальной пыли, которая по глазу бьет. Каноник говорил в свое время: разумеется, отдаленные тела не присылают к нам, как думал Эпикур, совершенные подобия, передающие соответственное тело и во внешней форме, и в потаенной природе. К нам попадают только знаки, приметы, и мы их используем для конъектур, которые мы называем созерцанием. Но тот самый факт, что незадолго перед этим Роберт передавал посредством тропов нечто, что предполагал, будто видит, и пересоздавал в словесной форме то, что чем-то изначально бесформенным ему подсказывалось, доказывало именно, что Роберту нечто виделось. И наряду со многими уверенностями, отсутствие которых нас удручает, одна-то несомненно присутствует, и она состоит в факте, что все вещи представляются нам именно так, как представляются, и не может быть, чтобы было не достоверно, что они нам представляются именно так.

По всему этому, видя и будучи уверенным, что видит, Роберт обладал единственной уверенностью, на которую и чувства и разум могли спокойно положиться, а именно уверенностью, что он видит нечто; и это нечто было единственною формой бытия, о которой он мог говорить, поскольку бытие представляло собой не что иное, как великий театр видимостей, ютящийся в некой складке Пространства – чем довольно много сообщается об этом причудливом веке.

Роберт был жив и был не во сне, и перед ним, будь то остров или континент, располагалось что-то. Что оно, Роберт не знал; как цвета зависят и от предмета, которому присущи, и от света, который отражен, и от глаза, который их в себе сосредоточивает, так отдаленная земля представлялась Роберту истинной в произвольном и преходящем взаимосочетании света, ветра, туч и его глаз, восхищенных и пораженных. Может, назавтра, или через несколько часов, эта земля показалась бы ему иною.

Видимое Робертом – это было не только сообщение, которое небом ему посылалось, но это был еще и результат взаимосочетания неба, земли и положения (в условиях определенного часа, времени года, угла зрения), из которого он глядел. Безусловно, если бы корабль равнялся вдоль какой-то другой оси в розетке ветров, зрелище оказалось бы иным: солнце, заря, море и земля оказались бы другим солнцем, другой зарею, другим морем и другой землей, пусть двойниковыми, но иноформными. Ту бесчисленность миров, о которой рассказывал Сен-Савен, следовало искать не только по другую сторону созвездий, но и посреди пузыря в пространстве, для которого Роберт, весь сводящийся к оку, ныне выступал источником неисчисляющихся параллаксов.

Предоставим же Роберту, оказавшемуся среди столь многих затруднений, разрешение не продолжать сейчас его думы относительно метафизики ли, или физики тел. Как мы впоследствии увидим, он их продолжит несколько позднее, и с гораздо большим усердием, чем надлежало бы. Но уже и на нынешней грани мы видим, как Роберт умствует о том, что если может существовать единый мир, в котором показываются разнообразные острова (острова, различные в один и тот же миг для различных робертов, которые наблюдают с различных кораблей, находящихся на разных географических долготах), значит, в этом едином мире могут сочетаться и сосуществовать многие роберты и многие ферранты. Может быть, в тот день на полубаке он случайно сдвинулся на несколько шагов относительно самой высокой горы Железного Острова и ему открылся универс, обитаемый совсем другим Робертом, который не был обречен атаковать форт под насыпью городской стены Казале или которому выпало быть спасенным другим отцом, не убивавшим великодушного испанского гранда.

Но на грани этих рассуждений Роберт, несомненно, остановился, дабы не признаваться самому себе, что отдаленное тело, складывавшееся и распадавшееся в метаморфозах сладострастия, превращалось в анаграмму

иного тела, которым он вождеделел обладать; и поелику земля улыбалась ему, томная, Роберт вождеделел достигнуть ее и совокупиться с нею, убоготоренный пигмей на персях дивновидной великанши.

Полагаю, не стыдливость все же загнала его под палубу, а светобязнь – или же некий иной позыв. Дело в том, что Роберт услышал кур, снесших новые яйца, и замыслил устроить себе вечером цыпленка на вертеле. Прежде, однако, ножницами капитана он привел в порядок бороду, волосы и усы, чтоб не так походить на жертву краха. И положил себе относиться к кораблекрушению как к загородному житью, сулящему обширную серию зорь, рассветов и (предвкушал он) заходов.

Спустился он, таким образом, через час после того, как куры отквохтали, и сразу же обнаружил, что яиц, которые должны были бы быть, если только куры квохтали не ложно, – не было. И не только это казалось странно. В кормушках свежее зерно было разровнено так аккуратно, как будто курицы его не разгребали.

В каком-то подозрении он заглянул в оранжерею и там увидел, что и в этот день, как накануне и наемдни, листья блестели от росы, венчики были полны прозрачной влаги, вся земля около корней казалась мокрой, а перегной раскисшим и липучим; верный знак, что кто-то на протяжении ночи приходил поливать в теплице.

Забавно сказать, но первым его чувством была ревность. Кто-то хозяйничал на корабле и оспаривал у него и заботы, и ту пользу, которая могла быть от забот. Лишиться мира, дабы обрести в свое владение заброшенный корабль, а затем уведомиться, что на нем живет кто-то другой, – это было невыносимо, в точности как если бы он узнал, что Властительница, недостижимый и желанный предел, уступила желанию другого.

Затем наступил черед более разумного беспокойства. Точно так же как мир его детских лет вмещал в себя Другого, который предшествовал и следовал Роберту, так же и «Дафна», по всей видимости, имела нутро и закоулки, которых он еще не знал и в которых таился неуловимый хозяин, кравшийся по всем путям Роберта вслед за тем, как Роберт проходил, или за миг до его прохода.

Он бросился прятаться в каюту, как африканский страус, который закапывается головой и думает, что мира больше не существует.

Чтоб добежать до полюта, он миновал отверстие трапа, спускавшегося в трюм. Что там скрывалось, в его глубинах, если на гон-деке он нашел воссозданный Остров в миниатюре? Что там было – царство Постороннего? Заметим, что уже тогда он воспринимал судно как предмет страсти, предмет, который, только его откроешь и только откроешь для себя, что желаешь его, как тотчас все те, кто владел им прежде, становятся узурпаторами. Что и признает Роберт в письме к Владычице: в тот миг, как ее увидел впервые, и увидел именно проследив за взором другого, не сводившего с нее глаз, он почувствовал мерзость, как будто обнаружив червяка на розе.

До чего это трогательно – ревновать посудину, провонявшую рыбой, дымом и мочой! Но Роберт уже тогда терялся в зыбком лабиринте, где от каждой развилки две тропы вели к одному и тому же образу. Он страдал и по Острову, который был не его, и по кораблю, который был его, из-за недостижимости обоих: первого по причине далека, второго по причине загадки. И оба оказывались как бы на месте возлюбленной, обманывавшей его, обольщавшей посулами, которые он сам себе обетовал. Иначе невозможно воспринять письмо, где Роберт изощряется в выпендренной слезоточивости лишь для того, чтобы пожаловаться, по сути дела, на украденный завтрак.

«Сударыня,

как уповать на милость того, кто меня гонит? И все же кому, как не вам, повем печаль, взыскуя утешенья, коли не в слушании вашем, то в собственных невыслушанных речах? Ежели любовь лекарство, излечивающее любую муку мукою еще горчайшей, прав ли я, в ней видя напасть, затмевающую своей огромностью любые другие напасти, так что она становится снадобьем против чего угодно, исключая самое себя? Ибо если когда я и любовался красой и вождедел ее, это была только греза о вашей красоте; как мне теперь горевать оттого, что и иная краса мне только греза? Горчее было бы, ежели та, иная, мне далась бы, и услаждался ею, я не крушился бы по образу вашей; жалкий медикамент! и болезненность моя бы усугубилась угрызениями из-за неверности мечте. Слаще доверяться вашему образу, и наипаче теперь, когда новократно я лицезрею врага, лицо которого незримо и нежелательно мне узреть никогда. Дабы затмить это ненавистное явление, да появится ваш возлюбленный призрак.

И да обращусь я толикой неутоленной любовью в бесчувственную руину,  
в мандрагору, в каменный кладезь, высачивающий слезами неисточимую  
скорь...»

Но и самоистребяясь этим терзанием, Роберт в каменный кладезь  
не превратился и поэтому от приступа горя, которое испытывал, обратился  
к горю, пережитому им в Казале и гораздо – как мы увидим – более роковому.

## 7. Слезная павана

[9 - «Pavane Lachryme» – название мелодии Якоба ван Эйка (см. прим. к назв.  
глав 1 и 32). Павана – торжественный придворный танец XVI–XVII вв. Существен  
для последней страницы главы и еще один возможный подтекст названия:  
«Pavane pour une infante dfunte» («Павана по опочившей принцессе», 1899)  
Мориса Равеля (1875–1937).]

Эта повесть настолько же прозрачна, сколь и странна. На фоне легких стычек,  
выполнявших точно такую роль, какая в шахматной игре отводится – нет,  
не ходу, а взгляду, которым, предугадавши импульс хода противника, стараются  
предотвратить этот могущий стать выигрышным шаг, – Туара решил попытаться  
осуществить что-то более важное. Было ясно, что игра идет между разведкой  
и контрразведкой; в Казале распространялись слухи, будто подмога близка  
и ведет ее сам король, что господин Монморанси подвигается от Асти,  
а маршалы де Креки и де ла Форс от Ивреи. Ничего подобного, догадывался  
Роберт, видя ярость Туара, когда приходили с севера депеши. Туара уведомлял  
Ришелье, что у него кончаются припасы, а кардинал писал в ответ, что господин  
Ажанкур в свое время проинспектировал склады и видел, что Казале прекрасно  
продержится три летних месяца. Переход же армии по плану намечается  
на август, чтобы поддерживаться на марше продуктами нового урожая.

Роберт удивлялся, когда Туара подучивал корсиканцев дезертировать  
и доносить Спиноле, что французы подойдут только в осень. Но Туара пояснил  
штабным: «Если Спинола сочтет, что у него есть время, он займется подкопами,  
а нам даст делать контрподкопы. Если же он будет думать, что прибытие  
французов дело скорое, что ему останется? Не кидаться на эту армию – у него

не хватит сил; и не ждать ее сложа руки, так его самого обложат; и не возвращаться в Милан ради обороны Миланской области, потому что это против чести. Ему останется немедленно брать Казале. Но так как у него не выйдет взять Казале лобовой атакой, он изведет прорву денег на подкуп города и гарнизона. С этой минуты любой друг может обратиться для нас во врага. Зашлем же мы наших подкупленных к Спиноле и убедим его, что эшелоны не подходят, позволим рыть и минировать траншеи там, где они нам не сильно вредны, и уничтожим те, которые действительно угрожают, и пусть изматываются в этих плясках. Господин Поццо, вам данная местность известна. На каких участках позволим им подкапываться, а где будем отгонять любой ценою?»

Старик Поццо, не притрагиваясь к военным картам (они были слишком разужорены, чтобы внушать доверие) и тыча пальцем из окошка, доложил, в какой стороне земля дырявая, с родниками и ключами, там пусть Спинола ковыряет сколько хочет, его саперы рано или поздно задушатся, наевшись слизней; а в других местах рыть – истинная радость, и туда надо лупить артиллерией и набегать нашей конницей.

«Быть по сему, – подытожил Туара. – Значит, завтра задаем им жару около бастиона Святого Карла, а в это время располагаем засаду под бастионом Святого Георгия». Диспозиция была прекрасно решена, все роты получили точные распоряжения. А так как у Роберта был хороший почерк, Туара продержал его с шести вечера до двух утра, диктуя депеши, и сказал ему спать в одежде на ларе перед дверью, чтобы принять и рассмотреть ответы и разбудить, если обнаружится надоба. И пришлось будить его не однажды в ту ночь с двух часов и до рассвета.

Поутру войска были наготове в крытых проходах, защищенных контрэскарпами, и внутри крепости под стеной. По сигналу от Туара, который руководил из цитадели, первый авангард, довольно многочисленный, двинулся для обманного маневра: вначале копейщики и мушкетеры, затем поддержка из пятидесяти человек с мушкетонами, на малом расстоянии от первых, а дальше, открытым маршем, пятьсот пехотинцев и две конные полуроты. Настоящий парад, и задним числом стало ясно, что испанцы таковым его и посчитали.

Роберт видел, как тридцать пять человек, которыми командовал капитан Колюмба, впрыгнули россыпью в окоп. Испанский капитан, вынырнувший из-за

укрепления, церемонно отдал им честь. Колумба и его люди, посередине атаки, замешкались и по правилам хорошего тона ответили испанцам с той же вежливостью. Испанцы показали, что соглашаются отступить, французы затоптались, Туара велел выстрелить со стены по траншее, Колумба понял намек и скомандовал атаку, кавалерия налетела на окоп и справа и слева, испанцы неохотно заняли боевую стойку и тут же были сметены. Французы будто ополоумели, разя наотмашь, выкрикивая имена погибших друзей: «Вот вам за Бессьера, вот за высоту Брикетто!» Возбуждение было такое, что когда Колумба попытался собрать людей, он не смог, те продолжали изгаляться над упавшими, поворачивались к городу, махали трофеями: серьгами, перевязями, клоками волос, насаженными на дровяки.

Контратаки не последовало, Туара допустил оплошность, посчитав это оплошностью, а это была уловка. Полагая, что имперские командиры собирают новую команду, дабы отразить налет, он теребил их артиллерией, они же ограничивались стрельбой по городу, и одно ядро угодило в храм Святого Антония, недалеко от генерального штаба.

Туара удовлетворился этим ответом и подал знак второму отряду выходить из башни Святого Георгия. Немногочисленное подразделение, но под командованием господина де Ла Гранжа: он был подвижен, как подросток, невзирая на пятьдесят пятый год. С обнаженной шпагой, Ла Гранж повел атаку на заброшенную церковку, рядом с которой виднелся вход в уже начатую и разрытую сапу. Тут из смежной канавы и начала выскакивать чуть ли не вся главная сила неприятеля, с утра караулившая на месте встречи.

«Их предупредили!» – закричал Туара, бросаясь к воротам и подавая знак Ла Гранжу скакать назад.

Вскоре после того дозор Помпадурского полка им доставил, связанного по рукам, казальского парня, которого застукали на башенке у замка, откуда он белой тряпкой махал осадчикам. Туара разложил его на полу, просунул палец его правой руки под курок пистолета, уткнул ствол в ладонь левой руки парня, приблизил собственный палец к спуску и сказал: «Et alors?»

Парню повторять не понадобилось, он все рассказал. Накануне поздно, почти в полночь, перед церковью Святого Доминика какой-то капитан Гамберо обещал ему шесть пистолетов, три из них выдал сразу же, чтобы парень поступил как велено, что им было и выполнено. Велено было махать, как только французы

выедут из ворот Георгия. Парень даже имел такой вид, будто, не понимая военных правил, ожидает остальных пистолей от Туара за оказанную службу. Тут он завидел Роберта и завопил, что это и есть капитан Гамберо.

Роберт остолбенел, отец его Поццо кинулся на поганого лгунишку и удушил бы, если б не удержали какие-то офицеры свиты. Туара сразу же возразил, что Роберт провел всю ночь с ним бок о бок и что при всей его приглядности никак не мог бы сойти за капитана. Тем временем доложили, что какой-то капитан Гамберо действительно числится в подразделении Бассиани; толчками и тычками его пригнали пред очи Туара. Гамберо надрывался, что ни в чем не повинен, да и парень сказал, что имел дело не с этим, однако Туара предусмотрительно велел посадить его под стражу. Добавило сумятицы сообщение о том, что при отходе формирования Ла Гранжа с бастиона Святого Георгия кто-то перебежал к испанцам и его встретили овацией. Подробности не были известны, только что бежавший был молод и одет был по испанскому фасону с сеточкой на волосах. Немедленно Роберт припомнил Ферранта. Но сильнее всего его удручила та подозрительность, с которой французские командиры буравили взорами итальянцев в свите Туара.

«Одной мелкой дряни довольно, чтоб остановить армию? – слышался голос его отца, тот наступал на французов, а те пятились. – Простите, уважаемый друг, – повернулся Поццо к Туара, – но здесь, похоже, кто-то думает, что в наших краях все похоже на эту ракалию Гамберо, или я путаю?» И, не слушая сбивчивых заверений Туара в дружестве и почтительности, Поццо выпалил: «Можете не трудиться. Тут, я вижу, многие наложили под себя, а мне от этих вшивых испанцев до того тошно, что я сейчас, с вашего позволения, уберу двойку-тройку, чтобы им показать, что и мы умеем плясать, когда есть музыка, и что не родился тот, кто припрет нас к стене, разъязви меня к чертовой матери в душу Господь!»

Он выскакал из ворот и погнал, подобно фурии, с выставленной шпагой, против неприятельских рядов. Разумеется, он не полагал обратить их в бегство, но на него нашло исступление – действовать по собственному почину и показать что следует испанцам.

Как доказательство храбрости это годилось, как военная операция не годилось никуда. Пуля вошла ему в переносье и откинула на круп Пануфли. Второй выстрел долетел до контрэскарпа, и Роберт почувствовал жесткий удар в висок, будто камнем, и потерял равновесие. Он был ранен, однако вывернулся из рук

тех, кто его подхватил. С именем отца на устах он поднялся и увидел Пануфли, который в растерянности шел галопом с трупом хозяина в седле по ничейной полосе.

Тогда Роберт во второй раз засунул в рот два пальца и испустил условный свист. Пануфли услышал и повернул свой путь к стенам, однако медленно, мелким и торжественным скоком, чтобы не потревожить всадника, уже не стискивающего ему мощной хваткою бока. Он вернулся с легким ржанием, будто исполняя павану по опочившему хозяину, и передал его прах Роберту, который закрыл эти выкаченные заледенелые очи и отер чело, испачканное кровью, почти уже свернувшейся, в то время как ему самому еще горячая кровь из раны бороздила щеку.

Кто знает, не затронуло ли ему этим ударом зрительный нерв. На следующий день, на выходе из собора Святого Эвазия, в котором Туара организовал торжественное погребение господина Поццо ди Сан-Патрицио из рода Грив, Роберт с трудом выдержал свет дня. Может быть, глаза были разъедены слезами, но с этой поры они у него начали болеть. Современные исследователи психики сказали бы, что поскольку его отец удалился во владение тени, в эту же область хотел войти и Роберт. Он очень мало ориентировался в вопросах психологии, но как фигура речи подобное допущение вполне могло бы очаровать его, особенно в свете (или в тени) тех событий, которым было предуготовано произойти потом.

Вот так старый Поццо расстался с жизнью ради принципов, что мне кажется великолепным, но Роберт не думал того же самого. Все превозносили геройство отца, Роберту надлежало гордиться утратой, а он ревел. Помня, что отец говорил, что благородный человек обязан выдерживать не увлажняя глазниц удары карающей судьбы, он извинялся за слабость (перед родителем, который уже не спрашивал у него отчета) тем, что сиротеет впервые. Он думал, что постарается привыкнуть к тому, не понимая, что к утрате отца привыкать бессмысленно, все равно она не повторится никогда; с таким же успехом можно оставить рану открытой.

Но чтоб придать какой-то смысл произошедшему, он не мог опять не вернуться своими мыслями к Ферранту. Феррант, преследуя его незаметно, передал врагу известные Роберту секреты; вслед за тем бессовестно перешел на сторону врага, дабы взять иудину награду; отец, осознавший тягостную истину, пожелал кровью смыть позор с чести семьи и осиять биографию Роберта блистательною

отчею отвагой, дабы очистить от подозрительной тени, которая незаслуженно пала на него, неповинного. Чтобы это самопожертвование не было напрасно, Роберт обязан был в честь отца являть примеры доблести, которая всеми людьми в Казале ожидалась от отпрыска героя.

У него не было выбора. Отныне он, законный властитель Грив, был наследником имени и состояния семейства, и Туара не мог уже его использовать для мелких дел, хотя не рисковал употреблять для крупных. Так, оставшись один, по причине именно этой репутации знаменитого сироты он оказался еще более одиноким, не получая даже утешения в действовании; среди азарта осады, не имея обязанностей, он мучил себя вопросом, как ему проводить дни в осажденной цитадели.

#### 8. Занимательная наука изящных умов той эпохи

[10 - Обыграно название сочинения римского иезуита, француза Франсуа Гарасса (1585–1631) «*La doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps*» («Занимательная наука изящных умов нашей эпохи», 1624).]

Придержав на мгновение наплыв воспоминаний, Роберт осознал, что вызывает в памяти смерть родителя не из благого порыва растравить Филоктетову язву, а по чистой акциденции. Призрак отца шел за призраком Ферранта, а последний был соединен с призраком Постороннего на «Дафне». Эти двое облизнечились в его сознании до такой меры, что он решил изжить одного из них, слабейшего, а с сильнейшим побороться и его побороть.

В сущности, сказал он, в осадные дни чуял ли я по-прежнему дух Ферранта, двойника? Нет. Почему нет? Потому что Сен-Савен убедил меня в его мнимости.

Действительно, Роберт привязался к господину де Сен-Савену. Тот пришел на отпевание. Роберт принял это как знак приязни. Вдалеке от алкогольных паров Сен-Савен был благороднейшим человеком. Невысокого роста, нервный, прыткий, со следами на лице, видимо, тех парижских рассеяний, о которых рассказывал, он, должно быть, не достиг тридцати лет.

Он извинился за несдержанность памятной ночи, не за суть высказываний, а за резкую манеру. Он расспросил о господине Поццо, и Роберт был Сен-Савену благодарен за то, что он если не испытывал, то по крайней мере изображал живой интерес. Роберт рассказал, как отец учил его фехтованию; Сен-Савен задал вопросы, оживился при описании одного приема, обнажил шпагу на площади и пригласил Роберта продемонстрировать штосс. Либо выпад был ему известен, либо искусство велико, так как он отпарировал батманом очень ловко, но согласился, что хитрость была первостатейной боевой школы.

Чтоб отблагодарить, он показал Роберту один из знаемых им приемов. Он пригласил Роберта в стойку, и, обменявшись несколькими финтами, когда был атакован, Сен-Савен неожиданно соскользнул на землю, Роберт в удивлении открылся, а тот, чудом ожив, пружинно выпрямился и отрезал лезвием пуговицу с Робертовой сорочки в знак того, что, захотевши, мог бы пропороть его очень сильно.

«Нравится, мой друг? – спросил он Роберта, сдававшегося и благодарившего за показ. – Это Удар Баклана, или Удар Чайки, зовите как звучнее. Кто бывал на море, знает, как эти птицы пикируют вниз почти отвесно, но над поверхностью воды их падение останавливается и они резко взмывают ввысь с добычей в клюве. Этому удару учатся долго, не всякий раз он задается. Вот и молодчику, который изобрел его, однажды он не задался. Он отдал мне и жизнь, и драгоценный свой секрет. И больше огорчился, я полагаю, о последнем».

Они бы еще фехтовали, не соберись маленькая толпа жителей. «Прекратим, – сказал Роберт. – Не желаю, чтобы кому-то показалось, будто я забыл траур».

«Вы лучше чтите отца тут со мной, – сказал Сен-Савен, – репетируя его уроки, нежели когда вы забивали себе уши дурной латынью в церкви».

Тогда Роберт спросил Сен-Савена: «Вы не боитесь кончить жизнь на костре?»

Сен-Савен омрачился: «Мне было примерно столько лет, сколько вам сейчас. Один приятель был мне как старший брат. Я звал его именем древнего философа, Лукреций. Он тоже был философ и вместе с тем священник. Он кончил жизнь на костре в Тулузе. Перед казнью ему вырвали язык, потом придушили. Вот видите, мы, философы, острым языком не только ради

«бон тона», как полагал тот давешний господин за ужином. Пусть язык послужит для дела, пока его не вырвали. Или, зубоскальство в сторону: язык должен побеждать предрассудки и исследовать природную причину вещей».

«Так вы действительно не веруете в Бога?»

«Не нахожу для этого оснований в природе. И я не единственный. Страбон замечает, что галисийцы не имели никакого представления о верховном существе. Когда миссионеры стали рассказывать о Боге туземцам Западных Индий, как свидетельствует Акоста... кстати, он иезуит... им пришлось позаимствовать слово испанского языка «Dios». Вы не поверите, но в языке туземцев не содержалось соответственного термина. Если идея Бога не наблюдается в живой природе, значит, эта идея выдумана людьми... Ну не смотрите же на меня как будто я не дворянин твердых принципов и не преданный слуга королю. Истинный философ не требует переменить порядок вещей. Он примет этот порядок. Он лишь взывает, чтоб ему позволили питать собственные мысли, утешающие сильную душу. Что до других... На счастье, существуют епископы и папы, удерживающие толпу от бунта и мятежа. Упорядоченное государство вынуждает к однородному поведению. Религия необходима для народа. Умный человек поступается частью независимости, чтобы общество было стабильно. Я полагаю себя человеком почтенным. Я верен дружбе; не лгу, то есть лгу только в любовных отношениях; люблю познание и сочиняю, как уверяют окружающие, неплохие стихи. Поэтому дамы считают меня галантным. Я бы хотел писать романы, поскольку они изрядно в моде, но, вспомятуя многие из них, зарекаюсь от написания даже и единого».

«Какие романы?»

«Нередко, глядя на Луну, я воображаю, что пятна на ней – это пещеры, города, острова, а сияющие пространства – моря, блистающие на солнце, как зеркальные поверхности. В моем уме складывается повесть их королей, их войн и революций или несчастливых любовников, которые по ночам вздыхают, созерцая нашу Землю. Мне бы хотелось рассказать о распрях и о приятельстве частей нашего тела, как руки состязаются с ногами, как вены любодействуют с артериями, кости – с костным мозгом. Ненаписанные романы гоняются за мной. Когда я у себя в спальне, мне кажется, что я ими окружен, бесенятами, и один таскает меня за ухо, другой за нос, и каждый: «Господин, возьмитесь за меня, я великолепен». Затем я вижу, что возможно разыграть

не менее любопытную историю, устроив забавную дуэль. Например, если в знак победы вынудить противника отрешиться от Бога и после этого проткнуть, чтобы он ушел на тот свет отреченцем и попал прямо в ад. Ну же, де ла Грив, шпагу наголо, попробуем снова, защищайтесь! Ваши пятки на одной линии, это дурно, теряете устойчивость. Голову не держите так прямо, потому что протяженность от плеча до вашей макушки открывает слишком большое пространство для моих фланконад».

«Но я всегда могу парадировать, ведь шпага на вытянутой руке».

«Тоже неправильно, рука быстро устанет. Вдобавок я занял ангард по-немецки, а вы остались в итальянской стойке. Это плохо. Когда перед вами противник в необычном ангарде, старайтесь повторить его стойку как можно точнее. Однако вы не рассказали ничего о себе. Чем вы занимались до того, как угодили в сию долину праха».

Никто не очаровывает юношу сильнее, чем старший приятель, блистающий двусмысленными парадоксами. Юноша всеми силами старается превзойти того. Роберт распахнул душу Сен-Савену. Чтобы казаться интереснее, а первые шестнадцать лет его жизни не так уж много давали к тому материала, рассказал об одержимости неизвестным близнецом.

«Вы прочитали романы, – сказал Сен-Савен. – И даже стараетесь прожить один из них. Отлично, так как задача романов обучать развлекая, а обучают они распознавать капканы, которые ставит нам жизнь».

«Чему же может научить, по-вашему, роман о Ферранте?»

«Роман, – пояснил на это Сен-Савен, – всегда основывается на путанице – персоны ли, действия, места, времени либо обстоятельств. Из этой основной путаницы проистекают частные недоразумения, подмены, казусы и перипетии, а вслед за тем неожиданные и приятные узнавания. Путаницей может выступить мнимая смерть героя, или когда убивают одного вместо другого, или бывают ошибки в количестве, это когда любовница полагает умершим одного любовника и соединяется с другим, или ошибки в качестве, то есть когда к ошибочному выводу приходит суд чувств, или когда хоронят того, кто не умер, полагая покойным, а он под воздействием дурманного былья; или еще превратность отношения, когда одного облыжно выводят убийцею другого; или превратность

средства, как если закалывают, используя такой кинжал, в котором лезвие не вонзается в тело, а уходит в рукоять и надавливает там на губку, пропитанную кровью... Не говоря уж о подмененных посланиях, о ложных слухах, а также о переписке, не доставленной вовремя либо доставленной не в то место или не тому адресату. И из всех названных стратагем самая приветствуемая, но чересчур избитая, это та, которая представляет ошибочное принятие одного лица за другое, объяснение каковой погрешности заключается в двойничестве... Двойник, или Сосий греческой комедии, это отражение, которое у героя маячит за плечами или предшествует ему во всяких обстоятельствах. Изумительная уловка, при которой читатель отождествляет себя с персонажем и делит с оным смутную боязнь Брата-Противоборца. Но вы видите, до чего подобен машине человек; достаточно обернуть колесико на поверхности, чтоб зашевелились другие в его нутре; Брат и противоборье не иным являются, как отражением боязни, которую всякий питает к самому себе, к тайникам своей души, где содержатся неудобовысказуемые страсти или, как называют их в Париже, концепты, глухие невыразимые концепты. Поелику доказано, что есть неуловимые помышления, которые впечатлеваются в душу, даже когда душа не сознает того; потаенные мысли, бытие которых доказывается из той данности, что сколь ни мало каждый сам себя исследует, не преминет обнаружить, что в сердце у него любовь и ненависть, мед и трава, хотя и не умеет точно припомнить те рассуждения, которыми эти чувства рождены...»

«Значит, выходит, Феррант...» – заикнулся Роберт, а Сен-Савен продолжил: «Феррант – замена ваших страхов и ваших стыдов. Очень часто люди, чтоб не признаваться себе, что они распорядители своей жизни, видят ее как роман, движимый взбалмошным обманщиком сочинителем».

«Но что за смысл имеет моя парабола, сочиненная бессознательно?»

«Кто знает? Вдруг вы не любили вашего папашу настолько крепко, как сами верите, и опасались суровости, с какой он требовал от вас быть добродетельным, и выдумали его виноватость, чтобы затем покарать его не собственной виной, а чужою».

«Сударь, вы говорите с сыном, оплакивающим возлюбленного отца! Полагаю, что тяжелейший грех – внушать непочтительность к отцу, нежели даже к Создателю!»

«Полегче, полегче, милый де ла Грив! Философ смеет критиковать обманные поучения, которыми нас напичкивали, и среди них – бессмысленное требование почитать старость, как будто бы не молодость – наивысшее благо и наивысшая доброта. Ну по совести, молодой человек, способный замышлять, судить и действовать, не более ли пригоден к управлению семьей, чем расслабленный, на седьмом десятке, обморозивший сединой и волосы свои, и характер? То, что мы почитаем за осмотрительность в наших старцах, не что иное как панический страх перед действием. Вам угодно подлежать таким, которые от лени утратили упругость мышц, чьи сосуды заскорузли, чьи соки испарились и костный мозг усох во внутренности костей? Если вы обожаете женщину, не по причине ли ее красот? Вы ведь не продолжаете преклонять пред нею колена, когда возраст обращает ее в привидение когдатошних прелестей, пригодное прежде всего напоминать вам неминуемую смерть? И ежели вы так обходитесь с вашими любовницами, почему бы не так же обойтись и с вашими старцами? Вы мне скажете, что старец вам родитель и что небеса обещают вам многие лета за то, что вы его обиходите. Но кем это сказано, я спрашиваю? Кем? Евреями-долгожителями, понимавшими, что просуществовать среди пустыни они сподобятся, лишь поработивши порождения собственных чресл. Вы думаете, что небеса прибавят вам хотя бы один день жизни за то, что вы овечка перед батюшкиной волею? Что пыль, развеваемая перьями в пылу ваших почтительнейших поклонов пред стопами родителя, способна излечить злокачественный нарыв, зарубцевать в вас дырку от шпаги или вывести камни из пузыря? Коли б так, лекаря не прописывали бы вам обычную гадость, а рекомендовали бы, против итальянской болезни, четыре реверанса до еды перед высокочтимым вашим патриархом и поцелуй глубокоуважаемой родительницы, прежде чем укладываться спать. Вы скажете, что без отца вас не было бы на свете, его бы не было помимо его родителя и так все выше и выше вплоть до Мельхиседека. В то время как отец вам повинен, а не вы ему, ибо расплачиваетесь многими слезными годами за одну секунду приятной для него щекотки».

«Вы сами не верите в то, что говорите».

«Не верю. Почти. Но философ подобен поэту. Последний сочиняет идеальные послания идеальной нимфе, дабы промерить лотом поэтического высказывания глубину собственной аффектации. Философ поверяет хладность собственного взора, хочет видеть, вплоть до которой степени он способен подточить твердыню ханжества. Я не стремлюсь укоротить почтение ваше к родителю, поскольку вы рассказываете, что он дал вам полезные уроки. Но не печалуйтесь слишком сильно при воспоминании о нем. Я вижу у вас слезы...»

«Это не от печали. Наверное, ранение в голову ослабило мне глаза».

«Пейте кофий».

«Кофий?»

«Попомните, он входит в моду. Вылечивает от всего. Я вам достану кофию. Он сушит хладные гуморы, гонит ветры, усиливает печень, и нет великолепнейшего средства от водянки и чесотки. Освежает сердце, облегчает от маеты в желудке. Паром кофия пользуют от слезотечения, звона в ухе, от насморка, отделения носовых мокрот, называйте как угодно. И еще, похороним вместе с вашим папашею того неудачного брата, которого вы сочинили. Далее. Заведите себе любовь. Она поможет лучше, чем кофий. Огорчаясь из-за живого существа, забудете горечь по мертвому».

«Я еще не любил женщину», – порозовев, признался Роберт.

«Не обязательно женщину. Это может быть мужчина».

«Сударь!» – завопил Роберт.

«Вот видно, что вас воспитывали в деревне».

Вне себя от смущения, Роберт начал прощаться, сославшись на глазное нездоровье. И положил конец свиданию.

Пытаясь отгородиться от всего, что услышал, Роберт убедил себя, что Сен-Савен шутил. Как на дуэли, показывал те уколы, которые модны в Париже. А Роберт показал себя провинциалом. И не только; выслушивая с серьезностью шальные речи, согрешил, а этого бы не случилось, прими он их сразу же за шутку. Теперь же удлинился перечень совершенных им преступлений; он склонил ухо к осквернению веры, приличий, государства и почтения к семье. Обдумывая сии проступки, он отуманился еще горчее. Вспомнил, что отец его опочил, имея на устах святохульство.

## 9. Подзорная труба Аристотеля

[11 - Трактат по эстетике туринского иезуита отца Эмануэле Тезауро (1592-1675) «Il Cannocchiale Aristotelico» (1654).]

На другой день он опять молился в соборе Святого Эвазия. Он искал там прохлады; в тот первоиюньский полдень солнце палило полупустынные улицы – точно так же и ныне на «Дафне» ощущался жар, накатывавший от краев бухты, борта корабля не спасали, дерево калилось, как в огне. Но ему хотелось не только охладиться, а и покаяться в своем и отцовом прегрешении. Он остановил священника в нефе, тот сразу сказал, что не того прихода, но, увидев глаза юноши, все-таки согласился и уселся в исповедальню слушать.

Отец Иммануил, не престарелый годами, имел лет около сорока и, по описанию Роберта, был «полносочен и розовощек при лице горделивом и приветном». Роберт, расположенный к нему, высказал все терзания. Прежде всего он упомянул об отцовом богохульствии. Верно ли, что из-за этого отец не состоит сейчас в объятиях Отца, а терзается в преисподне ада? Исповедник задал несколько вопросов и вместе с Робертом пришел к заключению, что в какой бы миг своей жизни старый Поццо ни вынужден был распротиться с земной юдолью, вероятность подобного исхода, то есть когда он суесловил именем Господним, была достаточно велика. Такую пагубную привычку заимствуют у простонародья, и помещики области Монферрато полагали, что это очень лихо – выражаться в обществе себе подобных, как грубые землепашцы.

«Видишь ли, сынок, – подвел итог исповедник. – Твой отец опочил в миг, когда им совершалось одно из тех великих и благородных Деяний, за которые, по поверью, причитается доступ в Парадиз Героев. Так вот, вообще-то я не считаю, будто подобный Парадиз имеет место, и полагаю, что в Царствии Небесном сожительствуют в священном согласии Властодержатели и Нищевродники, Самоотверженцы и Малодушные, и неупустительно Милостивый Господь не отринет твоего родителя из пределов только из-за того, что у него не то навернулось на язык, когда голова была вся занята исполнением геройства; рискую даже предположить, что в подобные моменты любое такое Восклицание может использоваться для призывания Господа во Свидетели и Судии благого поступка. Если ты все же продолжаешь крушиться, то помолись за спасение отчей души и закажи за него мессу, не столько чтобы вынудить Господа переменить его суд, так как Господь не флюгарка, чтобы вертеться

туда и сюда из-за первого сквозняка, а ради умиротворения твоей собственной совести».

Тогда Роберт признался, какие соблазнительные речи он слышал от друга; тут отец Иммануил безутешно развел руками. «Сынок, я мало знаю Париж, но слушая рассказы, просто даешься диву, сколь изобилен Безрассудниками, Наглецами, Вероотступниками, Доносителями, Интриганамии этот новый Содом. Между оных нередки Лжесвидетели, Мощехитители, Осквернители Распятый, и такие, кто снабжает деньгами неимущих, дабы те отрекались от Господа, и даже такие Люди, которые для издевательства окрестили собак... И это называется следовать моде века. Во храмах сейчас уже не звучат проповеди, там прогуливаются; там посмеиваются, укрываются за колоннами, желая докучать женщинам, и слышится непрерывное бормотание даже во время Вознесения Даров. Под соусом философствования изводят тебя злонамеренными вопросами: зачем Господь ниспослал миру заповеди? зачем запрещено прелюбодеяние? зачем Отпрыск Божий воплотился? – и каждый и любой ответ они используют в оправдание атеизма. Вот они, Благородные Умы нашего времени: Эпикурейцы, Пиррониане, Диогенисты и Либертины! Так не наклоняй слуха к этим Искусителям, они заманщики от Лукавого».

Обыкновенно Роберт не злоупотребляет заглавными буквами, как грешили сочинители его эпохи. Но когда он пересказывает высказывания и сентенции отца Иммануила, заглавные буквы преизобилуют, как будто святой отец не только писал, но и выговаривал слова с некой особой торжественностью – признак великой и очаровательной красноречности. И действительно, от всех этих его слов Роберт испытал такое успокоение, что, выйдя из исповедадьни, пожелал еще некоторое время говорить с отцом Иммануилом. Он узнал, что священник – иезуит, что он прибыл из области савойцев и является персоной далеко не последнего разбора в городе, ибо исполняет обязанность наблюдателя, уполномоченного герцогом Савойским; это было в порядке вещей при осадах того века.

Отец Иммануил охотно состоял в своей должности. Мрачная осадная жизнь более способствовала успешности занятий, нежели рассеянный Турин. На вопрос, в чем состоит его наука, он отвечал, что, подобно астроному, созидает Зрительную Трубу.

«Ты не мог не слышать о том Астрономе Флорентийце, который для объяснения Мира использовал Зрительные стекла, гиперболу очей, и с Подзорною трубою

увидел то, что глаза только воображали. Я ценю, когда употребляются Механические Приборы, чтоб разобрать, как принято говорить сейчас, распространенную Вещь. А чтобы расследовать Вещь мыслящую, то есть понять наш подход к постижению мира, мы должны использовать другую трубу, ту, которую уже применял Аристотель, и она не труба и не линза, а Словесная Сеть, Проницательная Идея, потому что лишь благодаря дару Изобретательной Элоквенции возможно постичь сущий Универс».

Говоря, отец Иммануил вывел Роберта из церкви, и, прогуливаясь, они сошли на отсыпной скат перед бастионом. Там было тихо в послеполуденный час. Редкие пушечные выстрелы, как в вате, погрохотывали на другой стороне. Прямо перед ними, на отдалении, были аванпосты имперских войск, но между городом и имперцами лежали поля и луга, в них не было ни солдат ни повозок, и склоны холмов сияли под лучом.

«Что ты видишь, чадо?» – спросил отец Иммануил. На что Роберт, в ту пору несильный красноречием: «Поля».

«Само собою, каждый способен видеть эти Поля. Но хорошо известно, что в зависимости от стояния Солнца, от освещения неба, от часа дня и времени года поля показываются нам в различных видах, будят разные чувства. Мужуку, умаянному работой, они представляются Полями, и вся недолга. И неотесанный рыбарь, видя в небе ночные Огненные Знаки, немо их созерцает и боится; но лишь стоит Метеорологам, а по существу Поэтам, додуматься назвать их Кометами – Гривастыми, Бородатыми либо же Хвостатыми; Козами, Балками, Щитами, Факелами и Стрелами, – как эти фигуры речи разъясняют, какие остроумные Символы употребляет Натура, когда пользуется сказанными Образами на манер Иероглифов, каковые с одной стороны соотносятся со знаками Зодиака, а с другой – с Событиями, миновавшими и будущими. А Поля? Смотри, сколько можно сказать о них, и чем больше говоришь, тем больше открываешь своему взору. Дышит Фавоний, Земля распахивается, плачут Соловьи, павлинятся Деревья, гривастые листвою, и ты проницаешь восхитительный замысел Полей в разнообразии злаковых семейств, вспаиваемых Ручьями, что перешучиваются в отроческой беззаботности. Праздничные Поля ликуют, при явлении Солнца открывая лик; радуются радугой улыбок при явлении Светила; упиваются лобзаниями Австра, и хохотанье пляшет на земле, и земля расстилается для нешумливого Счастья, и утреннее тепло преисполняет Поля Довольством, которым они захлебываются в слезоточении рос. Увенчанные цветами, Луга отдаются своему Гению и слагают остроумные

Гиперболы Радуг. Но в скором времени их Младенчество сознает, что не за горами омертвелость, и смех их смущается внезапною бледнотой, выцветает небо, и Зефир, явившийся с опозданием, развеивается над чахнуущею Землей. При первом приближении досад зимы скукоживаются поля и цепенеют от хлада. Вот, сын: если бы ты попросту сказал, что поля благовидны, ты бы только описал их зеленоцветие, наглядное и без того; а если ты говоришь, что слышится полей смех, ты даешь мне познать Землю, как одушевленного человека, и, обоюдно, я прочитываю на человеческих лицах такие полутона, которые наблюдал на лугах... Вот она, работа наивеликолепнейшей из Фигур – Метафоры. Если Гений, Быстрый разум, а следовательно и Знание состоят в связывании между собой отдаленных понятий и в нахождении Подобий между вещами неподобными, Метафора из всех известных фигур самая острая и редкая, единственная способна производить Изумление, от коего родится Услада, как при смене декораций на театре. И если Услада, доставляемая Фигурами, состоит в изучении новых вещей без натуги и многих вещей в малом объеме, вот так же и Метафора, перенося на лету наш рассудок от одного явления к другому, сосредоточивает нам в одном слове более чем один Предмет».

«Но надо уметь изобретать метафоры, и это не под силу такой деревенщине, как я, который во всю свою жизнь на эти поля обращал внимание только для охоты за бекасами».

«Ты благородная персона и не так уж далек от того, чтобы превратиться в такого, которого во Франции называют *Nonnte homme* – светским человеком, не менее ловкого в словопрениях, чем в ратоборстве. Уметь производить Метафоры, а следовательно, видеть мир неизмеримо шире, чем он постижим для неучей, – это Искусство, к которому можно приобщиться. Если уж ты хочешь знать, я, живущий в современном мире, где все с ума посходили по многим и изумительным Машинам, из которых изрядное число имеется на вооружении, увы, и у наших осадчиков, я также сооружаю Машины Аристотелевы, которые дают возможность любому и каждому прозревать при использовании Словес...»

Спустя несколько дней Роберт познакомился с господином делла Салетта, он служил офицером связи между Туара и городскими властями. Туара сетовал Роберту на казальцев, в надежности которых все больше сомневался. «Не понимают, – говорил он, – что даже и в мирное время Казале в таком положении, что не может дать пропуск ни одному пехотинцу и ни одной корзине

провианта без разрешения испанских министров? И что только французский протекторат поставит Казале на уважительное место?» Однако от господина делла Салетта Роберт узнал, что Казале не слишком благоденствовал и под мантуанскими господами. Политика герцогов Гонзага была издавна нацелена на сужение казальских вольностей, и в последние шестьдесят лет город пережил горечь постепенной утраты многих привилегий.

«Понимаете, де ла Грив? – горячился Салетта. – Прежде мы страдали от чрезмерных поборов, однако теперь к ним добавляются все расходы по содержанию гарнизона. Нам не хочется иметь испанцев в доме, но такой ли уж сахар эти французы? За себя мы погибаем или за них?»

«За кого тогда погиб мой отец?» – спросил Роберт. Господин делла Салетта не сумел ответить ему.

В отвращении к политическим разговорам, Роберт пошел к иезуиту Иммануилу, через несколько дней, в монастырь, где тот располагался. Там его направили не в келью, а в апартамент, который был тому определен под сводами самого тихого клуатра. Когда Роберт пришел, тот беседовал с двумя господами, один из них был роскошно разодет: он был в пурпуре с золотыми аграмантами, плащ покрыт золоченым позументом, подбит мехом, камзол оторочен полосой красной материи в крестах, швы отделаны галунами с камушками. Отец Иммануил представил его как альфиера дона Гаспара де Саласара, да еще и прежде Роберт сам по надменному голосу и по обстрижке бороды и волос признал в нем офицера противнической армии. Вторым собеседником был господин делла Салетта. Роберт на какой-то миг обомлел, представив, что угодил в шпионское логово, но затем, подумав, догадался, как догадываюсь и я по описываемой картине, что на основании этикета осады в те времена некоторые представители осаждающих армий законно допускались в стены осажденных городов, для переговоров и для связи, точно так же как господин делла Салетта свободно наведывался в лагерь Спинолы.

Отец Иммануил сказал, что именно готов продемонстрировать гостям Аристотелеву машину, и проводил спутников в комнату, где стояла самая странная постройка, какую только можно себе представить, и я не убежден, что сумею точно воссоздать ее форму по рассказу, включенному Робертом в одно послание к его Даме, поскольку речь идет о чем-то не встречавшемся в действительности ни до того, ни сейчас.

Итак, в комнате находился обширный не то сундук, не то верстак. В боковой его стороне были вдвинуты ящики, девять по вертикали, девять по горизонтали, следовательно, восемьдесят один. Все ряды и сверху и сбоку обозначались награвированными буквами (BCDEFGHIK). На поверхности верстака на пюпитре стояла большая рукописная тетрадь, в тетради были раскрашенные заставки. Справа от пюпитра – устройство из трех валков, разной длины и толщины. Самый короткий был самым толстым, и два длинных и тонких могли проворачиваться у него внутри. Рукоятка справа позволяла крутить их, причем обороты были у каждого разные из-за различия размера. Слева на краях валков были нанесены те же самые девять букв, что и на ящиках в шкафу. Таким образом, раскрутив устройство, получали при останове любые произвольные сочетания из трех букв: CBD, KFE или BGN.

«Как Философ научает нас, Острый разум не в ином коренится, как в умелом проникновении в суть предметов сообразно десяти Категориям, каковы Сущность, Количество, Достоинство, Связь, Действие, Чувство, Местоположение, Время, Основание, Обычай. Сущность – это основной действитель каждой Остроты, и надлежит проглядывать в Сущностях сокрытые восхитительные свойства. Каковы известные нам Сущности, перечислено в моей рукописной тетради под буквою А, и, пожалуй, самой долгой жизни не хватит для полного Сущностей перечисления. Я посильно собрал в тетради их несколько тысяч, почерпывая из книг Поэтов и Наукосназцев и из того изумительного Регистра, который находится в «Фабрике мира» Алунно. Итак, к числу Сущностей причисляем, вслед за Всеблагим Вездесущим Богом, и Божественных Персон, и Идеи. Тут же вся греческая боговщина: Сказочные Боги, набольшие, срединные и малые, Божества небесные, воздушные, морские, земные и адские, Герои обожествленные, Ангелы, Дьяволы и Духи, Небеса и странствующие Звезды, Небесные знамена и созвездия, Зодиак, Круги и Сферы солнцеворота, Стихии, Испарения, Пары, а за этим вслед – чтобы не утомлять вас перечислением – Подземные Огни и Искры, Метеоры, Моря, Реки, Родники и Озера и Скалы... Добавим Рукотворные тела, именно произведения всяческих Искусств: Книги, Перья, Чернила, Глобусы, Компасы, Квадранты, Дворцы, Храмы и Хижины, Щиты, Мечи, Барабаны, Картины, Кисти, Статуи, Резцы и Пилы – и метафизические Сущности, как Род, Вид, Различие, Принадлежность и подобные Данности».

Отец Иммануил выдвигал ящички своего огромного ларя и показывал, что в каждом внутри наставлены квадратные листики из толстого пергамента, обычно используемого для книжных переплетов: «Каждый вертикальный ряд

соответствует, от В до К, разным словам из девяти категорий Свойств, и для каждой Категории имеется девять ящиков, где обитают Семейства Членов. Verbi Gratia[12 - К примеру (лат., ит. - шутл.)], категория Количества вмещает следующие семьи: Семейство Количества по Размеру (среди его Членов мы находим: Большой и Малый, Длинный и Короткий), а также Семейство Количества по Численности (члены: Нисколько, Один, Два и так далее; Мало и Много). Далее категория Достоинства, к ней отнесем такие Части: Достоинства Зримые (Видимый, Невидимый, Прекрасный, Уродливый, Светлый, Темный); Достоинства Обоняемые (Аромат, Зловоние); Достоинства Чувствований, такие как Радость и Грусть. И такие таблички собраны для любой из девяти Категорий. На каждую Табличку занесен один Член, и туда мы приписываем все Предметы, для одного подразделения предназначенные. Это ясно?»

Присутствующие в восхищении закивали. Отец Иммануил продолжал:

«Теперь наудачу откроем Великую книгу Сущностей и посмотрим, которая попадется... Карлик. Что мы могли бы сказать, еще до Метафорических Именований, попросту о Карлике?»

«Что он недоросток, недомерок, урод... несчастливый, некрасивый, потешный...»

«Все это справедливо, – согласился отец Иммануил. – Но трудно предпочесть определение, и вдобавок, полагаю, придишь мне судить не о Карлике, а, скажем, о Кораллах, навряд бы мне пришло на ум столько же выдающихся черт. Кроме этого, Малость как свойство подлежит категории Количества, Уродство относится к категории Достоинства, и откуда надо начинать? Нет уж, пристойнее препоручиться Судьбе, коей Местодержатели, это мои катушки. Сейчас я запущу их и прочитаю, как вот теперь, что случайно совместились В, В и В. Первая из этих В, это Количество, В во втором положении посылает меня заглянуть, внутри категории Количества, в ящик Объема, и там, в самом начале ряда, в положении В, мы обнаружим Маломерность. На этой табличке, где собрано все малое, я прочту, что мал Ангел, могущий быть на острие иглы, и Полюс, единственная неподвижная точка вращающейся сферы; а из отряда веществ малы огненная Искра, Капля воды, каменная Крупица, Атом, из которых, по свидетельству Демокрита, состоят все тела; из отряда Человеков, Зародыш, Зрачок, таранная косточка в ступне – Астрагал; из животных Муравей и Блоха, из растений мучная Пыль, горчичное Семя и спора хлебной Плесени; из математических наук *minimum quod sic*, точка над буквой *i*, переплет в шестнадцатую долю, драма академии Специали; из зодчества каморка,

дверная петля; а из басен Хлебогрыз, мышинный царь в их войне с лягушками; Мирмидоняне, рождаемые муравьями... Но остановимся перечислять, ибо уже и так мы для потехи можем назвать Малорослого человека Урожденным ларчиком, Детской куколкой, Человеческой мукой. Теперь глядите, вот если бы мы восхотели заново развернуть наши валики, чтобы получить тут, к примеру, СВФ, буква С отослала бы нас к Достоинствам, В наущала бы выбрать среди Достоинств внутри ящика ту часть, где подобраны Достоинства Зримые, а там на позиции F обнаружались бы слова, описывающие Невидимость. Среди Невидимых содержатся, удивительное соположение, снова Атом и еще Точка, и это позволяет мне описывать моего Карлика как Атом человека или же Точку плоти».

Отец Иммануил поворачивал свои цилиндры и перебирал карточки проворно, будто ярмарочный фигляр, и метафоры высыпались из него, как по заклятью, при неощутительности механического усиления. Но он никак не мог удовлетвориться.

«Господа, – продолжал он сыпать словами. – Гениальная Метафора обязана быть куда замысловатей! Каждая Вещь, которую я поминал доселе, в свою очередь обязана поверяться в свете десяти Категорий, и как объясняется в моей Книге, если нам брать в расчет некую вещь, которая зависит от Свойства, то надо смотреть, видимая ли то вещь, и с какого видима расстояния, и какое в ней Уродство либо же Краса, и какой цвет; сколько от нее Звучанья, сколько Запаха, сколько Вкуса; чувствительна ли она и трогательна ли, редкая или плотная, горячая или холодная, и какой Конфигурации, и к какой взывает Страсти, Любви, к какому Искусству, Знанию, к какой Здравости, Убогости и можно ли ею обучиться. Я зову такие вопросы Частностями. И вот мы знаем, что первая наша проба побудила нас действовать через Количество, среди Членов которого находила приют Малость. Теперь я снова раскручу цилиндры и получу триаду ВКD. Литера В, как нами уже условлено, обозначает Количество, и если я обращусь к собственной книге, там сказано, что первый частный способ, нацеленный на описание Малости, состоит в указании, в каких единицах она мерится. Таким образом мы возвратимся к ящичку Количества, в семейную группу Количества Общего. Придем в раздел Единицы Измерения и выберем там подгруппу К, то есть Землемерную Пядь. Таким манером я строю сравнение достаточно остроумное, например, сказав: сему Младенческому Обсосу, Атому Человека, и пядь землемерная чересчур крупная мера. Так мы Метафору соединим с Гиперболой о Жалкости и Смехотворности Карлика...»

«Какая восхитительность, – сказал господин делла Салетта. – Но во второй избранной вами триаде осталась неиспользованная литера, D...»

«Меньшего я и не ждал от вашей пронизательности, – с удовольствием ответил отец Иммануил. – Вы затронули Предивный Пункт моего Конструкта! Эта запасная литера, которую я способен и отбросить, буде наскучу или решу, что цель и без нее достигнута, это она дает мне возможность снова производить изыскания! Эта D позволяет мне сызнова пройти все круги Частностей, ища в категории Одежаний (к примеру, какое платье приличествует в данном случае или может ли данная вещь служить на платье эмблемою чего-то). Отсюда я опять вернусь к машине, как в свое время сделал с Количеством, и снова начну крутить Цилиндры, используя первые две литеры и придерживая про запас третью для возможной новой пробы, и так до бесконечности, в течение миллионов вероятных Соположений. Разумеется, одни из них будут более остроумны, другие менее. Тут уж моему Понятию приличествует отбирать те, которые вернее породят Изумительность. Но не могу обманывать вас, господа, я выбрал Карлика не по случайности, а оттого, что всю сегодняшнюю ночь истратил я на то, чтобы с великим тщанием подобрать все приличествующие сравнения именно для этой Субстанции».

Извлеки исписанный лист, он приступил к длиннейшей череде определений, которыми осыпался незадачливый Карлик, человек короче собственного имени, которого верней бы звать зародышем, частью человека, ведь и корпускулы, проходящие со светом через окна, объемней его; и его тельце совокупно с миллионом подобных могло бы протекать, меря время, сквозь тоненький перешеек клепсидры; он крошка такой, что где ноги, там и голова; откуда начинается этот плотский сегмент, там он и кончается; это линия, загустевшая в точке; острое иглы; предмет, с коим говорить следует осторожно, дабы дыханием не свеять с места; столь мелкая малость, что не имеет цвета; горчичное зернышко, малое и жгучее; тельце, в котором не более, хоть и не менее, того, чего никогда не бывало; материя без формы; форма без материи; тело без тела; чистое явление рассудка; изощрение гения, защищаемое собственным ничтожеством, поелику ни единым ударом поразить его не удастся; в любую скважину он сможет укрываться; питаться целый век ячменным зернышком; он сокращен до такой крайности, что неясно, в лежачем, сидячем либо же стоячем положении пребывает; способен утонуть в улиточной скорлупке; семя, гранула, зернышко, точка над *i*, математическая неделимость, ничто арифметическое...»

И он бы продолжал, имея достаточный запас заготовленных сравнений, если бы присутствующие не заглушили его речь рукоплесканиями.

## 10. Переработанные география и гидрография

[13 - Латиноязычный труд ученого иезуита Джованбаттисты Риччоли (1598–1671) «Geographia et hydrographia reformatae» (1661).]

Теперь Роберту было ясно, что отец Иммануил действовал, по сути, как последователь Демокрита и Эпикура: накапливал атомы концептов и сочетал в фигуры, создавая различные предметы. Как и Диньский каноник, отец Иммануил тем доказывал, что представление о мире, состоящем из атомов, не противоречит идее о божестве. Божество, существуя, совокупляет атомы как хочет. Отец Иммануил тоже из распыленных концептов избирал лишь наиостроумнейшие сочетанья. Так же было бы, создавай он постановки для театров. Выстраивают же комедиографы неправдоподобные и острые сюжеты из материала правдоподобного, но пресного, производя на свет эффектных «козлоолений» интриги?

А если так, не выходило ли, что обстоятельства, стечением которых определились и кораблекрушение, и житье Роберта на «Дафне», притом что обстоятельства сии – гнущаяся и скрипучая мачта, аромат растений, пение птиц – порознь были вполне правдоподобны, в совокупности порождали иллюзию какого-то присутствия, являющуюся только следствием фантасмагории, порождением воображения, как и смех лугов и слезоточение рос? Фантом пролазы представлял собой коллаж из атомов действия. То же представлял собой и фантом потерянного брата. Оба склеивались из фрагментов Робертова лица и из кусочков его помыслов и желаний.

Как раз когда по стеклам забарабанил очаровательный дождик, облегчительный в этот дневной зной, Роберт сказал себе: все сходится. Не кто иной, как я, взошел на этот корабль. Я и есть пролаза. Это я возмущаю спокойствие своим расхаживаньем. И вот, по существу робея, что нарушил святыню иных, создаю второго самого себя, блуждающего по тем же подмосткам. Какие доказательства, что Иной имеет место? Несколько капель росы на листьях? Разве влага не могла, как проливается теперь, пролиться минувшей ночью? Птичий

корм? Что ж? Разве птицы не могли подвинуть рассыпанные зерна? Исчезнувшие яйца? Но не я ли сам вчера видел, как ястреб скогтил летучую мышь! Населяю призраками трюмы, в которые до сих пор не отваживался спуститься, потому что меня пугает перспектива одиночества между морем и небом. Роберт, владелец имения Грив, повторял он себе, ты один. И в одиночестве можешь тут оставаться до истечения земного срока, а истечение, надо думать, не за горами, так как питания на борту хватает, но хватает на недели, а не на годы. Поэтому уж лучше расставь-ка на палубе подходящие сосуды, чтобы насобирать пресной воды, и научись закидывать удочки с верхнего дека, и перестань бегать от солнца. Настанет прекрасный день, когда ты доберешься до Острова и населишь его собой – единственным постояльцем. Вот о чем тебе надлежит размышлять, а не о пролазах и феррантах.

Он подобрал все пустые бочонки и расставил их в ряд на шканцах, кое-как вытерпев свет, затуманенный облаками. В ходе работы он отметил, что пока еще слаб. Сошел вниз снова, задал пищу на птичнике (будто для того, чтоб воспрепятствовать Другому сделать это за Роберта) и в очередной раз не смог принудить себя спуститься на ярус ниже. Вернулся в каюту и пролежал несколько часов. Дождь не унимался. Несколько порывов ветра впервые навели его на мысль, что оплот его пловуч и качается как зыбка, а от перехлопыванья дверей оживала вся громоздкая туша с ее лесистой утробой.

Последней метафорой он сам залюбовался и подумал, приходило ли на ум отцу Иммануилу разбирать корабль как кладовую Ошеломительных Девизов. Мысль его перелетела к Островной Суше, и он примерил к ней эмблему «Недосягаемая Близость». Красивая фигура речи привела его второй раз за протекающие сутки к тематике несходного сходства между Сушей и его Госпожою. И до поздней темноты он был занят писанием к Прекрасной Даме приблизительно тех мыслей, которые пересказывались мною на этой странице, в предыдущих строках.

«Дафна» пробултыхалась килевой качкой до рассвета. Движение горизонта, как и волнистое движение в бухте, утихомирилось к утру. Роберт сумел наблюдать через стекла первые блики холодной, но ясной зари. Вернувшись к Гиперболе Очей, вспоминаясь предыдущими днями, он сказал себе, что славно было бы поисследовать берега с помощью наблюдательной трубы, которую видел в соседней каюте. Сама ограниченность обзора создавала бы благоприятный режим зренью, притеня солнечные лучи.

Он налег краем трубы на подоконник галереи и уставился на закраину залива. Остров выглядел просветленным. Белым султаном трепыхались шерстяные облачные пасмы. Как Роберту объясняли на «Амариллиде», каждый океанский остров собирает влажный дух от ализеев и конденсирует мокрый воздух в консистенции туманных хлопьев. Путешествующие нередко узнают о том, что земля неподалеку, еще не видя берегов, но чуя выхлопы водяного пара, витающего около земли, будто на длинной привязке.

Об ализеях ему рассказывал доктор Берд. Он называл их Trade-Winds, французы же alisees. В тех широтах бывают буйные ветры, заправляют шквалами и устанавливают штиль. Но эти буйные и резкие поветрия – в свою очередь игрушка ализеев, капризных круговоротов воздуха, на картах они показаны как пируэты, как плясовые подскакивания с приседаниями и с поклонами. Ализеи подстраиваются к мощному ветру и сбивают его с дороги, перерезывают ему путь, спутывают направление. Ящерицами шныряют они по непредвиденным тропинкам, сшибаются и отскальзывают, как если бы в Супротивном Море имели силу только правила искусства, а не природные законы. Искусственную вещь напоминают они всем своим ладом. И не гармоническую форму, свойственную вещам, идущим от земли и от неба, как снежинки или кристаллы, нет, они принимают форму тех изощренных волют, которые архитекторами наращиваются на колонны и капители.

Что все это море было организовано супротивно, Роберт подозревал давно. Именно этим объяснялось, по какой причине космографы обычно полагали, что в тех краях обитают противоположные создания, разгуливающие головою вниз, а к небесам ногами.

Разумеется, не могли художники, которые при дворах Европы сооружали гроты, инкрустированные ляпис-лазурью, и фонтаны, движимые скрытым насосом, продиктовать природе все изощренности земель, расположенных в далеком море. И не могла природа Неоткрытого Полюса Земли повлиять на тех художников. Но Роберту было известно, до какой степени и природа и искусство любят изобретать любопытное, и тем же вдохновляются и атомы, которые совокупляются между собой то тем, то иным затейливым способом. Есть ли на свете более замысловатое измышление, нежели черепаха – чудодействие ремесленника, жившего тысячи тысяч лет тому назад, щит Ахилла, нафаршированный четырехлапою змеєю?

У нас, говорил себе Роберт, все, что растительно, некрепко, и слаб листок с его прожилочками, и хил цветок, век которого – день или единственное утро. А тут вся растительность как из шкур, это прочные масляные чешуи, способные выдерживать натиск ополоумевшего солнца. Все листья на этой широте, дикие обитатели которой, разумеется, понятия не имеют ни о железе, ни об обжиге глины... каждый лист способен превращаться в орудие, лезвие, чашу, лопату, и лепестки цветов лаковые. Все растительное крепко и мощно; в то же время непрочно все, из чего состоит животный мир. Судя по птицам, которых вчера я рассматривал, они выдуты из цветных стекол. А у нас зверь – это дикая сила, мощь жеребца, бычий упрямый мускул.

Что уж сказать о плодах... Плоть нашего яблока, с его здоровой окраской, указывает на дружественный вкус. Синюшный оттенок гриба вопит о ядовитости. В тутошнем же мире, как наблюдал я и вчера, и во время стоянок «Амариллиды», предпочитается остроумная переключка обманных противностей. И смертно-бледные плоды бывают животворно сладки, а из самых красовитых сочтется отравительная прель.

Через подзорные стекла Роберт обследовал берег и заметил меж землею и морем ползучие цепкие корни, которые, казалось, скакали в распахнутое небо. Рядом кустарники с продолговатыми плодами, которые, несомненно, сулили медовую сладость всем своим недошедшим, незрелым обликом. На пальмах покачивались золотистые кокосы, будто налитые дыни. Но он знал, что они становятся съедобны, только когда приобретают колер пережженной кости.

Коли так, чтобы жить в этом наоборотном мире, следовало всегда помнить, собираясь сторговываться с природой, что надо вести себя вопреки прирожденному инстинкту, который скорее всего достался человеку от первых гигантов. Гиганты приспособлялись к природе противоположного полушарья и считали, что самая натуральная натура – это та, к которой приспособляются. И полагали, что натура натурально обязана приспособиться к ним самим. Они думали, что солнце такое маленькое, как им казалось. А стебли трав, наблюдаемые глазами, направленными к земле, выглядели большими.

Переселиться к антиподам означало переиначить инстинкт, перековать на изумительность натуру и на натуру изумительность и уяснить, до какой же степени неоснователен мир, который в одной половине следует одним законам, а в другой – законам противоположным.

Роберт снова присутствовал при пробуждении птичьего грая и, не в пример первому разу, осознавал, до чего искусно подобраны эти ноты, особенно в сравнении с простым чириканьем его отроческих утр. Тут бормотание, и ворчанье, и урчание соседствовало со свистом, клокотаньем, бульканьем, журчаньем, с квохтаньем, с прищелкиванием языков, дробным свиристом, скулежом и воем, взвизгиваньем и выстрелами из мушкета, со сложными хроматическими гаммами, и порою слышалось нечто вроде клекотания квакш, затерявшихся во влажной глубине подлеска, в гомерическом говоренье.

Труба позволяла ему разглядеть веретенообразные и пулевидные, покрытые оперением тулова, перепархивание черных или неопределенно-узорчатых птах, валившихся с высокой вершины деревьев на землю в умопомрачении Икара, зовущего гибель. Внезапно ему даже померещилось, будто какое-то дерево, должно быть китайский померанец, стрельнуло в небо одним из своих апельсинов, шаром цвета огненного корунда, который опрометью проскочил круговидное поле обзора. Он сказал себе, что дело в рефлексе света, и не думал больше об этом. Точнее, уверил себя, что не думал. Впоследствии мы увидим, насколько, к слову о неосознанных мыслях, прав был в свое время Сен-Савен.

Думаю, что те пернатые ненатуральной природы могли быть эмблемой парижского общества, оставленного им за много месяцев перед этим; в мире, где не обитало человекообразных и где если не единственными живыми, то единственными говорящими существами были птицы, он чувствовал себя точно как в салонах, куда угодив впервые, он воспринимал лишь неотчетливое стрекотанье чуждой речи и с робостью пытался почувствовать, какого она вкуса – даже если, сказал бы я, знание этого вкуса в конце концов он довольно крепко усвоил, иначе не вынужден был бы ныне от него отвыкать. Но, памятуя, что там он повстречал Прекрасную Даму, а следовательно, что наиверховным среди всех мест выступало то, а не это, он сделал вывод, что не там воспроизводился птичий гомон Острова, а на Острове обитатели-птицы пытались приравняться к высокочеловечному птичьему языку.

Размышляя о Даме и о далекости Дамы, которую накануне этого дня он уподобил недосыгаемо близкой Суше, расположенной на востоке, он снова стал разглядывать Сушу, с которой при использовании телескопа получались только беглые и нечленораздельные намеки, однако, как бывает и с вогнутыми зеркалами, принимая в себя один лишь угол маленького пространства, они отсылают глазу сферический космос, безграничный и обеспамятевший.

Каким предстал бы ему Остров, доведись ему туда добраться? По декорации, наблюдаемой из его ложи, и по тем образчикам, которые он обнаружил на судне, Остров вполне походил на Эдем, где ручейки струились млеком и медом, где был пышный триумф плодов и кроткие звери. Не это ли искали на архипелагах юга бестрепетные первопроходцы, правившие туда дорогу, бросавшие вызов штормам посередине океана, чье имя «Тихий» не отвечало его нраву? Не этого ли вожделем Кардинал, когда отправил его с заданием вывести секрет «Амариллиды» и насадить лилии Франции на Неизведанную Землю, в которой воплотились обетования долины, не затронутой ни Вавилонским грехом, ни Всемирным потопом, ни незапамятным адамовым проступком? И кротки должны были быть человеческие особи, населявшие Остров, темные внешне, однако со светлой душой, равнодушные к тем гудам золота и к бальзамам, при которых они беспечно блюстительствовали, их не касаясь.

Но ежели все так, не повторялась ли ошибка первых грешных, если нарушить целомудрие Острова? Может, Провидение судило этому пришельцу непорочно созерцать красоты, и не касаясь их, и не смущая. Не таково проявление самой совершенной из любовей? Не в ней ли изъяснялся он и Госпоже: любить на далеке, отказываясь от обладательного наскока? То ли любовь, что упоует на захват? Если Остров сливался для него с Предметом поклоненья, Острову приличествовало и то почтение, которое следовало Предмету. А лихорадочная ревность, которую он ощущал всегда при беспокойстве, чтоб не осквернилось чужевольными взорами это отъединенное святилище, была не заявкой собственного права, а опротестованием прав кого бы то ни было, и миссию отгона препоручила ему любовь, как охранителю Грааля. Равное целомудрие ему предназначалось и в отношении Острова, который чем полнее обещаниями рисовался, тем менее следовало бы трогать. На удалении от Госпожи, на удалении от Островной Земли и о той и о другой он имел право только говорить, желая, чтоб они были непорочны, насколько непорочными они имели возможность пребывать, не ласкаемые никем, кроме стихии. Краса, ежели где-то и существовала, имела своей целью оставаться без цели.

Такова ли была Островная Суша? И по какой подсказке именно так расшифровывался ее иероглиф? Было известно, что со времен самых первых плаваний к этим архипелагам, которые на картах помещались в любые неразведанные места, там было принято оставлять взбунтовавшихся членов экипажа, преобразовывая острова в узилища о воздушных решетках, где осужденные выступали себе тюремщиками, приговоренными к взаимному

надзору. Не подходить туда, не обнаруживать их секреты, к этому сводился если не долг, то по крайней степени право желающего избежать безграничных кошмаров.

А может быть, нет? Может, главной особенностью Острова было бытование в его середине, в нежном цветущем Дереве Забвения; и поев его плодов, Роберт мог уповать на обретение покоя?

Запомнить. В этих усилиях он провел день, не радея о внешнем виде и внешнем деле, погруженный в свое: превратиться в *tabula rasa*. И как бывает со всеми, кто понуждает себя забыть, чем истовее он старался, тем живее становилась память.

Он усердствовал, чтобы применить все рекомендации, слышанные когда-то. Воображал себя в переполненной комнате, где все вещи напоминали ему о чем-то: покрывало его любимицы, бумаги, к которым он пригвоздил ее образ посредством сетований на ее недостачество, мебель и гобелены из дворца, где они познакомились. Он воображал себе, как выкидывает все эти вещи из окон вплоть до тех пор, покуда комната (а с нею и его сознание) не оголится и не опростается. С нечеловеческою натугой подволакивал к подоконнику столовые сервизы, шкафы, сундуки и щиты с гербами, и, обратно тому, что ему обещали, соразмерно его истощению от этих стараний, фигура Государыни размножалась и из разных углов комнаты подглядывала за его томлениями, каверзно усмехаясь.

Так проводя свои дни за перетаскиванием утвари, он не обрел забвение. Прямо наоборот! Целыми днями он перебирал свое прошлое, уставив очи на единственный спектакль, который предоставлялся зрению: на «Дафну». И «Дафна» преобразовывалась в его рассудке в Театр Памяти, как те, что устраивались в эпоху, когда жил Роберт. В Театрах Памяти каждая подробность должна была восходить к недавнему либо отдаленному эпизоду истории. Так бушприт напомнил ему первое восхождение на палубу и первую мысль, что никогда ему не увидать больше возлюбленную. Подобранные паруса, по которым блуждая взорами долгими часами он оплакивал Ее, утраченную, Ее, потерянную... Балюстрада, с которой он испытывал глазами далекость Острова; столь же далека была и Она, любимая... Роберт посвятил Госпоже такое изобилие медитаций, что отныне и до той поры, покуда ему суждено здесь, в этом месте, мыкаться, каждая извилина этого пловучего чертога будет напоминать ему, минута за минутой, все, что он тщился выкинуть из головы.

Насколько это справедливо, он понял, поднявшись на капитанский мостик, чтобы нерадостные думы развеялись океанским ветром. Палуба стала для него как лес, как рощица, где ищут рассеянья несчастливые влюбленные. Роща искусственно построенная: ее стволы были обточены антверпенскими корабельными плотниками, полотнища хлопка-сырца хлопали по сырому ветру, пещеры были проконопачены, звезды из астролябий. И как любовники мысленно видят, посещая раскидистые поляны, возлюбленную в каждом соцветье, в шелесте леса и в каждой тропинке, вот и ему выпадало уничтожаться от страсти, поглаживая ложе пушки...

Не воспевали ли дам поэты, описывая губы из рубинов, очи-угли, перси-мрамор, сердце-диамант? Если так, вот и он, в дебрях окаменелых сосен, должен был предаться страсти к неодушевленному. Швартов с морскими узлами становился Ее кудрями. Медные бляхи сверкали, как Ее забытые очи. Батарея водосточных желобов напоминала Ее зубы в брызге пахучей слюнки. Брашпиль с блочным подъемником был как Ее шея, был украшен конопляным колье, и отдохновением отдавал помысел, что в Робертовой власти обожать труд мастера – создателя автоматов.

Потом он устыдился жестокости, с которой приписывал ей жесткость, и сказал себе, что каменить ее лицо означает очерствлять и собственное желанье, а оно должно оставаться живым, неудовлетворенным. И потом, поскольку тем временем опускался вечер, он поднял глаза к объемной раковине неба, испещренной неразборчивыми звездами. Лишь созерцая небесные тела, он мог надеяться возыметь небесные мысли, приличествующие тому, кто в силу небесного предопределенья приговорен любить самое небесное из человекоподобных существ.

Повелительница рощ, которая в белом одеянии озаряет перелесья и осеребряет долины, еще не восходила над вершиною Острова, укутанная пеленами. Остальная ширь неба была и ярка и обозрима, и на юго-западном пределе, почти что задевая гладь моря за островную землю, виднелась горсточка звезд, которые опознавать Роберт научился от доктора Берда. Их называли Южный Крест. Из одного всеми забытого поэта, благодаря тому что несколько отрывков засадил ему в память во время учебы преподаватель-кармелит, Роберту возвратилась на ум картина, которой он очаровывался в детстве: некто спустился в подземельное царство мертвых, прошел его и, выйдя из неведомой миру щели, увидел именно эти четыре звезды, никому не знакомые, кроме самых первых (они же и последние) обитателей Наземного Рая.

## 11. Искусство быть осмотрительным

[14 - Трактат испанского писателя и философа Балтасара Грасиана-и-Моралеса (1601–1658) «Oraculo Manual y Arte de Prudencia» («Обиходный Оракул, или Искусство быть осмотрительным», 1647. Первый русский перевод назывался «Придворный человек» (1739). См. «Карманный оракул. Критикон» (М.: Наука, 1984).]

Он видел эти звезды оттого, что крушение действительно случилось у границ Эдемского сада, или оттого, что вынырнул из черева судна, будто из адовой воронки? И так и этак. Кораблекрушение, выводя его к зрелищу иной природы, положило конец пребыванию Роберта в Земном Аду, куда он угодил, теряя иллюзии отрочества: во временах осады Казале.

Тогда в Казале история впервые представилась Роберту как череда капризов судьбы и интриг неясного «государственного интереса». Сен-Савен ему объяснил, до чего ненадежна великая машина мира, стопоримая происками Случая. Несколько дней хватило, чтобы поблекнуть геройским эмблемам юношества. Отец Иммануил продемонстрировал ему, что воодушевляться надо «Ироическими Эмблемами» и что жизнь лучше посвящать не побиванию великанов, а описанию карликов.

Выйдя из монастыря, как-то он провожал господина делла Салетта, в свою очередь сопровождавшего господина Саласара, за городские стены. Чтобы добраться к выходу, который Саласар звал по-испански Пакляными воротами, Puerta de Estopa, часть пути они проделали по бастиону.

Спутники нахваливали изобретение отца Иммануила; в наивности Роберт к ним обратился и спросил, на что годится толикая наука тем, кто занят в городской осаде.

Господин Саласар заметно развеселился. «Но, любезный и милый друг, – сказал он, – ведь мы тут, оказавшись по велению различных монархов и с поручением завершить эту войну по справедливости и по чести, превосходно понимаем,

что сейчас не та эпоха, когда можно было переменять движение звезд оружным боем. Кончились времена, в которые дворяне создавали королей. Ныне короли создают дворян. Придворная жизнь прежде была ожиданием минуты, в которую дворянину придется показать, на что он способен в военном деле. Теперь же все дворяне, что толпятся и там, – он показывал на шатры испанцев, – и здесь, – показывая на квартиры французов, – дожидаются конца военного дела, чтоб возвратиться в естественную среду, то есть ко двору. А двор, драгоценный дружище, это место соревнования, но не с королями в самоотвержении, а с другими дворянами за королевскую милость. Ныне в Мадриде встречаются среди знати и те, кто ни разу не обнажал шпагу и не покидал город; отъехав, дабы пылиться на полях баталий, они уступили бы город денежному купечеству и имущей «новой знати», отдали тем, кого монархи в наши дни ставят очень даже высоко. Воин не имеет выбора иного, как забыть о доблести и руководиться осмотрительностью».

«Осмотрительностью?» – переспросил Роберт.

Саласар кивнул на движение в долине. Там разыгрывались ленивые стычки между противниками, клубы пыли поднимались у входов в подкопы, в местах, где шлепались пушечные ядра. На северо-востоке, со стороны имперцев, ковыляла передвижная бронеколесница, ее колеса были снабжены серповидными ножами, передняя часть ее из дубовых реек была окована шишковатыми металлическими полосами. Из щелей высывались мортиры, колюбрины и аркебузы, а на просвет было заметно, что сидят ландскнехты. Морда щетинилась стволами, на боках были острые лезвия, и при лязге цепей из машины время от времени вырывалось дымовое пыхание. Неприятель, надо думать, не собирался применять ее для боя немедленно, с этой штукой полагалось идти на штурм крепости уже тогда, когда стенобойные орудия кончили свою задачу, но свое дело она делала и теперь – устрашала осажденных.

«Видите, – откомментировал Саласар. – Исход войны будет решен машинами, бронированными черепахами и минными галереями. Мужественные наши товарищи, с обоих фронтов, грудью ставшие перед противником и по случайности уцелевшие, проделали сие не для победного конца, а для приобретения репутации, которая дорого стоит при дворе. Самые благовеличные из них дальновидно избирали ристания, наделавшие шуму. Но, подсчитав пропорцию между тем, сколько они рискуют и сколько могут на этом заработать...»

«Мой отец...» – начал Роберт, сын героя, не подсчитывавшего пропорций. Саласар перебил его. «Ваш отец, он-то и принадлежал ко временам ушедшим. Не думайте, что мне его утрата не прискорбна. Но стоит ли пороха в наше время геройствовать, если эффектным отступлением молва одушевляется сильнее, чем отважной атакой? Разве вы сейчас не наблюдали военную машину, пригодную влиять на исход осады решительнее, нежели в свое время – клинки конников? Разве не уступили, вот уже сколько лет назад, клинки место аркебузам? Мы продолжаем носить кольчуги, но какой-то пикардиец исхитряется в некий прекрасный день продырявить кольчугу даже и бестрепетному Баярду».

«Что же остается благородным людям?»

«Благородным людям остается разумное поведение. Успех уже не окрашивается в цвета солнца. Он вырастает в лучах луны. И никем не доказано, что это второе светило меньше любезно Создателю всех вещей. Иисус и тот сосредоточивался в Гефсиманском саду при луне».

«Однако принял там решение в духе наигероичнейшей добродетели, не в духе осмотрительности...»

«Да, но вы-то не герой священной истории, а герой своего времени! Ну, окончится эта осада, и предположим, что махиной вас не задавило, чем займетесь вы, де ла Грив? Возвратитесь в свою глухую деревню, где никто не предоставит вам okazji проявить себя достойным отца? Те немногие дни, что вы третесь среди парижского дворянства, уже показывают, что вы охотно завоевываете их манерами. Значит, вас потянет искать себе счастья в большой столице, и вы сознаете, что именно там вы примените то очарование отваги, которым снабило вас длительное бездействие посреди этих стен. Вы тоже будете завоевывать судьбу, и следует быть вам ловким, чтобы захватить ее. Вам, наученному увертываться от мушкетной пули, предстоит еще научиться избегать завистников, ревнивцев, стяжателей, сражаясь их же оружием с неприятелями, иначе говоря, со всеми. Поэтому прислушайтесь. Вот уже полчаса вы перебиваете меня, докладывая, каково ваше мнение, и с видом, будто расспрашиваете, стараетесь доказать мне, будто я ошибаюсь. Не делайте так больше никогда, особенно с властью имущими. Зачастую вера в свою проницательность и ощущение долга свидетельствовать истину побуждают вас давать добрые советы тем, кто сильнее вас. Не делайте этого никогда. Любая победа доводит до ненависти побежденного. Если вы побеждаете собственного

начальника, это либо глупо, либо вредно. Властителям надо помогать, но не превозмогать их. Но будьте осторожны и с равными себе. Не унижайте их вашими высокими качествами. Никогда не говорите о себе. Либо вы станете себя возвеличивать, и это признак тщеславия, либо унижать, и это признак безрассудства. Пусть другие нащупают в вас какие-то простительные погрешности. Для их зависти это как бальзам, а вам без большого ущерба. Вы должны быть значительны, а подчас казаться пренебрежимы. Страус не стремится летать по воздуху, он смиряется с низостью жизни, но постепенно дает увидеть прекрасность своего оперения. А в особенности, если у вас окажутся страсти, не выставляйте их напоказ, сколь бы возвышенны они ни казались. Не следует предоставлять другим подход к своему сердцу. Осторожное и осмотнительное немногословие есть дивная скриня мудрости».

«Но из этой речи явствует, что первое долженствование благородного дворянина – водить людей за нос».

Тут с улыбкой вмешался господин Салетта. «Вдумайтесь, и увидите, что господин Саласар призывает не играть чужими носами, а придерживаться собственный язык. Не выхвалять то, чего нет, а оборонять то, что есть. Похваляясь тем, чего вы не совершали, вы выходите лжецом; не бахвалясь тем, что совершено вами, выйдете хитрецом. Добродетель из добродетелей – хитрость скрытия добродетели. Господин Саласар наущает вас осмотнительному способу быть доблестным, иначе говоря – как быть доблестным осмотнительно. С тех пор как первый человек научился глядеть глазами и увидел, что наг, он позаботился прикрыться даже пред лицом его Сотворшего; так усердие сокрытия родилось почти одновременно с самим миром. Сокрывать означает простирать покрывало честного сумрака, оно не вырисовывает ложного, а лишь дает посильный отдых истинному. Роза на вид хороша, потому что сокрывает свою вящую брэнность, и хотя о смертных красотах в обычае говорить, что они не кажутся земными, они являют собой только трупы, замаскированные благодаря преимуществу возраста. В этой жизни не всегда надо иметь открытое сердце, и те истины, которые для нас всего важнее, обычно проговариваются не до конца. Маскирование не мошенство. Это уловка, позволяющая не показывать вещи, каковы они на деле. Это уловка не простая: дабы в ней достигать высот, потребно, чтобы окружающие не ведали о нашем превосходстве. Если бы некто завоевал себе славу способностью притворяться, как в лицедействе, всем бы открылось, что он не таков, каким прикинулся. О величайших притворщиках не существует сведений».

«И заметьте, – вставил к этому Саласар, – что, призывая вас нечто скрывать, никто не требует, чтобы вы онемели, как тупица. Наоборот. Вам следует обучиться передавать острым словом то, что вы утаиваете от слов открытых. Вам надо существовать в мире, где главное внимание уделяется виду, где в почести бойкость красноречия, где надо быть ткачом шелковых слов. Бывает стрелами пронзена грудь, стрелами же можно пронзить душу. Пускай для вас станет натурой то, что в машине отца Иммануила остается уделом механики».

«Однако прошу позволения, – не стихал Роберт. – Машина преподобного Иммануила представляется мне отображением Гения, а Гений тщится не побивать, не соблазнять, а открывать и выявлять взаимосвязанности между вещами; стремится быть новым орудием истинности».

«Это в глазах философов. Но имея дело с дураками, используйте гений для их изумления, они предоставят вам свою поддержку. Люди любят, чтоб их изумляли. Если и судьба ваша и планида решаются не на ратном поле, а в придворном салоне, остроумная шутка вам принесет больше пользы, чем отважная атака. Осмотрительный человек одной изящной фразой спасает себя из любых затруднений и перебрасывается словами с такой легкостью, будто слова – пушинки. Почти за все есть возможность расплатиться словами».

«Вас дожидаются у ворот, Саласар», – произнес Салетта. Этим кончилась для Роберта неожиданная лекция о жизни и разумности. Она не переменяла Робертов нрав, но он был благодарен поучавшим. Ими был пролит свет на многие тонкости жизни века, о которых в имении Грив он ни от кого не слыхивал ни слова.

## 12. Страсти души

[15 - Произведение Рене Декарта (1596–1650) «Les passions de l'homme» (1649).]

Друзья развеивали его иллюзии, а Роберт впутывался в любовные ковы.

Это началось при окончании июня, в сильное пекло. Десять дней, как распространялись слухи о первых зачумленных у испанцев. В городе ощутилась нехватка еды. Солдатам давали только четырнадцать унций черного хлеба, а за пинту вина казальцы хотели три флорина, то есть дюжину реалов. Саласар в городе, Салетта в лагере испанцев трудились без усталости, выменивая пленников офицеров; ими вырученные давали присягу не касаться оружия. Много рассказывалось о том капитане, теперь на взлете дипломатической карьеры, Мазарини, которого папа уполномочил оговаривать мир.

Небольшие надежды, небольшие эскапады, игра в кошки-мышки в подкопах и контрподкопах, вразвалочку велась осада города Монферрато.

В ожидании то ли мира, то ли мощной армии французов воинственность иссякала. Кое-кто из казальцев замыслил выбраться за городские стены и попытаться сжечь хлеба, которые уберечь от конницы и от повозок, не смущаясь ленивыми выстрелами испанцев с дальних позиций их лагерей. Некоторые, впрочем, выходили на работу и с оружием: Роберт увидел статную рыжеволосую крестьянку, она откладывала серп, тянулась к мушкету, устраивалась на жнивье под прикрытием колосьев, обнимала ружье хваткой бывшего солдата, прикладом к румяной щеке, и выпускала заряд по врагам. Те, растревоженные наскоками этой воинственной Цереры, отвечали, и одна пуля царапнула ее по запястью. Ей пришлось ретироваться, кровоточа, но она не прекратила заряжать и палить по неприятельским окопам, что-то выкрикивая. Когда она входила в крепость, испанцы заулюлюкали: «Puta de los franceses!» Она же ответствовала кратко, но гордо: «Пусть я французам и даю, а вам шиш!»

Эта-то девственная краса, квинтэссенция полнокровного пригожества и бранелюбивой досады, в сочетании с намеком на распушенность, оскорбительность которого ее удорожала, разожгли ощущения подростка.

Целый день он слонялся по улицам Казале, чтоб обновить свое видение. Он расспрашивал поселян и услышал, что дева прозывалась, по мнению одних, Анна Мария из Новары, Франческа – по мнению других. В одном трактире уверяли, что ей двадцать лет, что она из ближней деревни и завела шашню с французским солдатом. «Девка что надо, Франческа, огонь», – и многозначительно ухмылялись. Для Роберта его любимая показалась желанной тем паче, что с каждым разом все более украшалась этими непристойными

комплиментами.

Через несколько дней, смеркалось, проходя по улице, он увидел ее в темной комнате первого этажа. Она сидела у окна, ловя вечерний бриз, едва унимавший знойную монферратскую припеку, и какая-то лампа, с улицы не видная, из-под окна озаряла ее. Сначала он ее не узнал, рыжая грива была зачесана в узел, свисали только две пряди впереди ушей. Было видно слегка наклоненное лицо, чистейший овал с жемчужными капельками пота, он и сиял, как единственный светоч среди густой полутьмы.

Она шила на низкой подставке, внимательно вглядываясь в шитье, и не обратила внимания на Роберта, который застыл, искоса разглядывая ее облик, вжавшись в противоположный дом. Сердце молотом ходило в груди, Роберт смотрел, как белокурые волосики опушали верхнюю губу шившей. Внезапно она подняла ко рту руку, и рука засветилась в сиянии лампы, в руке была темная нить; забрав нитку в алые губы, она чикнула белыми зубами, и нитка была перекушена лютым махом, взвивом алчной и нежной плоти, и хищница ублаготворилась собственной кроткой ярью.

Роберту нипочем было простоять там ночь, без дыхания, в опасении быть увиденным; жар его леденил. Но очень скоро обожаемая загасила лампу, и расточился дивный призрак.

Он и в другие дни проходил той же улицей, но ее не видел или видел только раз, не будучи уверен, она ли, потому что она сидела наклонившись, шея была розовой и голой, и водопад волос закрывал лицо. Матрона за ее плечами, проплывая в этих львиных локонах на ладье овечьего гребня, то и дело оставляла гребень и пускала в работу ногти, ловя улепетывающую живность, которая от сухого и точного щелчка похрустывала под ногтем.

Роберт, достаточно знакомый с вошебойным ритуалом, впервые открывал для себя его благовидность и воображал, как заманчиво скользить рукой по шелковым струям, подушечками пальцев – по дивному затылку и целовать белые полосы кожи, и какое счастье, должно быть, самому преследовать эти мирмидонские когорты, которые населяют лес кудрей.

Ему пришлось отрешиться от мечтаний, потому что толпа зашумела на той дороге, и это было последним разом, когда окно приберегало для него любовное виденье.

Другими днями и другими вечерами он снова приходил, и видел в окне матрону, и видел другую девушку, однако этой больше не бывало. Он сделал вывод, что его милая живет не в этом доме, а здесь какая-то родственница, к которой она ходит ради работы. Куда удалилась она сама, в течение долгих недель ему не дано было узнать.

Поскольку любовная печаль есть зелье, обретающее лихую крепость в тот миг, когда перетекает из наших уст в слухи друзей, Роберт, безуспешно блуждавший по Казале, тощавший в тщетных поисках, не потаил свое состояние от Сен-Савена. Он рассказал, и даже тщеславясь, поскольку обожатель щеголяет велелепием кумира, а уж в велелепии-то ее он был уверен вполне.

«Ну, любите себе, – беззаботно отозвался на это Сен-Савен. – Ничего нового. Кажется, человек даже находит в этом радость, в отличие от животных».

«Животные не любят?»

«Нет. Простейшие механизмы любить не могут. Что делают колеса повозки на скате? Крутятся вниз. Машина имеет вес, вес тяготеет книзу, в повиновении слепому закону, который требует опускаться. Таково и животное: оно тяготеет совокупляться. Не остановится, покуда не совокупится, а потом остановится».

«Но вы же говорили мне вчера, что люди тоже машины?»

«Да, но более сложные, чем минеральные машины, чем животные машины. Люди удовлетворяются колебательно».

«Что из этого следует?»

«Из этого следует, что вы, любя, и желаете и не желаете. Любовь превращает вас во врага самому себе. Вы страшитесь, что, достигнув желанной цели, разочаруетесь. Вы наслаждаетесь *in limine*[16 - На пороге (лат.)], как говорится

у теологов, ублажаетесь оттяжкой».

«Это неверно, ибо я... я желаю ее сразу же!»

«Если это правда, вы – все еще и всего только деревенщина. Нет, в вас есть тонкость. Если бы вы желали ее сразу же, вы бы ею овладели, как сущая скотина. Нет: вы желаете, чтобы ваше желание распалилось и чтобы в то же время распалилось желание ее. Но если бы ее желание так распалилось, чтобы отдаться вам сразу же, вы бы, надо думать, ее бы больше не желали. Любовь выхоливается в ожидании. Ожидание шествует просторами Времени по направлению к Случаю».

«А я что должен делать до тех пор?»

«Ухаживать».

«Но... она еще ничего не знает, и должен вам признаться, что не имел okazji к ней приблизиться...»

«Напишите письмо и объявите ей о своей любви».

«Но я никогда не писал любовных писем! О, стыжусь сознаться вам, но я никогда не писал писем на моем веку».

«Когда природа бессильна, приходится прибегать к искусству. Я буду диктовать. Полезное упражнение для образованного человека – сочинять письма к дамам, которых не видел. Тут я мало кому уступаю. Не любя, я способен говорить о влюбленности красивее, чем вы, любовью лишенный языка».

«Но я считаю, что каждый любит иначе... Это будет неестественно...»

«Если вы выскажете всю свою любовь и вдобавок естественно, получится чистый смех».

«Но зато это будет правда».

«Правда – девица милейшая, но стыдливая, она должна являться под покрывалом».

«Но я изъясню ей то, что чувствую я, а не то, что выдумаете вы!»

«Ну так вот: чтоб вам поверили, прикидывайтесь. Не бывает совершенства, не разубранного притворством».

«Но тогда она поймет, что это писано не к ней».

«Не волнуйтесь. У ней нет оснований сомневаться, что все продиктованное замыслено для нее по мерке. Давайте садитесь и пишите. Позвольте только мне приобрести вдохновение».

И Сен-Савен заскакал по комнате, как вроде, описывает Роберт, пчела, возвращающаяся к сотам. Глаза его блуждали, будто он вычитывал из воздуха послание, еще не существовавшее. Потом он начал.

«Сударыня...»

«Сударыня?»

«А как прикажете начинать? Эй ты, казальская шлюшонка?»

«Put a de los franceses», – не удержался и пробормотал Роберт, изумленный тем, что Сен-Савен ради красного словца угадал если не истину, то хотя бы клевету на его даму.

«Как вы сказали?»

«Ничего. Пусть так. Сударыня. Что за этим?»

«Сударыня, в изумительной архитектуре универсума было отражено с самого первого дня Сотворения Мира, что я повстречаю вас и я вас люблю. Но при самых первых строках письма я чувствую: душа моя до такой степени стремится к излиянию, что испаряется из моих уст и от моего пера до того еще, как я заключу».

«Заключу. Не знаю, будет ли это понятно...»

«Высказывания тем превыше ценятся, чем более они оцетинены затруднительностями, и тем любезнее откровение, если оно немереных сил нам стоило. Нет, надо повысить тон. Значит, вот как... Сударыня!»

«Как, опять?»

«Да. Сударыня, для такой дамы, которая хороша, как Альцина, предугадательно наинеприступнейшее из прибежищ. Полагаю, что неким заклинанием вы были отнесены в далекий край и обителью вашей сделался новоявленный Плавучий Остров, коий ветром моих воздухоновений отнесся на отдаление, его же я преодолеть усерден, во пребывание антиподов, где и подступы загорожены льдами. Я вижу, чем-то вы смущены, де ла Грив. Вам даже это кажется посредственным?»

«Нет, мне это... я сказал бы обратное...»

«Не извольте бояться, – отвечал Сен-Савен, превратно истолковав, – мы еще туда всунем обратный контрапункт. Далее. Допускаю, вашим прелестям придано право пребывать на отдалении, как Богиням то приличествует. Но возможно ли не ведать, что Богини благосклонно принимают хотя бы фимиамные пары, которые мы к ним от низу возжигаем? Коль так, не отриньте моего поклонения! Понеже вы облечены в высочайшей степени и прелестью и красотой, вы обратите меня в ничтожество, воспретив превозносить в обличии вашем два из наиценнейших божественных атрибутов... Так звучит лучше?»

Роберт на этом месте был поглощен раздумьями о том, что главная неразрешенная проблема – обучена ли дева из Новары грамоте. Преодолев этот риф, все, что она прочитает, несомненно, одурманит ее точно так же, как одурманивался он сам, пиша.

«Боже мой, – сказал он. – Этак она с ума сойдет...»

«Сойдет, сойдет. Продолжим. Нисколь не утративши моего сердца вместе со свободой, кою имел препоручить вам, всякий день наблюдаю, как оно разрастается, обретая такие размеры, что как если бы его одного недоставало

для моей великой любви, оно размножилось по всем моим артериям, и в них я ощущаю любовное дрожанье».

«Боже мой».

«Не воспаляйтесь. Это разговоры о любви, а не любовь. Извините, о Владычица, мне отъявленность отчаяния, или скажу лучше, не отягчайтесь ею: ибо неслыханно, чтобы владетели смущались гибелью своего невольника. О, и я почту свою судьбину завидною, поскольку вы озаботились тем, чтобы свести меня к погибели: если даже по крайности вы удостоите меня ненавистью, это скажет мне, что я не окончательно для вас безразличен. Так и смерть, которую вы полагаете истребить меня, воспримется мною как предпочтенье. Приди, желанная смерть; если любовь состоит в том, что две души созданы для того, чтобы быть едины, когда одна сознает, что другая ее не слышит, она может только умереть. И об этом – покуда жизнь еще не покинула мои тела – душа моя, отлетая, шлет вам оповещение».

«Отлетая, шлет вам?»

«Оповещение».

«Переведу дух. В голову ударяет».

«Держите себя в руках. Не путайте любовь с искусством».

«Но я ее люблю, люблю, понимаете?»

«Я – нет. Потому вы и обратились ко мне. Сочиняя, вы не должны думать о ней. Думайте, ну, к примеру, о господине Туара...»

«Как вы можете...»

«Не вскидывайтесь. В конце концов, он интересный мужчина. Пишите же. Сударыня».

«Еще раз?»

«Да. Сударыня, вдобавок ко всему я обречен опочить, ослепнув. Не вы ли в два аламбика претворили мои очеса, гоня из них жизнь по капле? И отчего происходит, что чем больше взоры мои увлажняются, тем пылают сильнее? Мой создатель, излепил ли он не из глины мое туловище, давшей существование первому человеку, а из извести, и влага, точимая очами, гасит ее? И отчего происходит, что изничтоженное умеет прозябать и изыскивает новые слезы, дабы изничтожать меня беспредельно?»

«Не слишком?»

«К торжественному случаю – торжественное сравнение».

Роберт уже не возражал. Ему казалось, что он уже не он, а Новарская Дева, и что он ощущает все то, что она ощутит, когда прочтет эти строки. Сен-Савен диктовал.

«Вы оставили в сердце у меня, его покидая, наглуую хватчицу, и она есть ваша тень и бахвалится, будто властвует надо мною в жизни и в смерти. Вы удалились от меня, как монархи отходят от лобного места из нежелания выслушивать мольбы пытаемых о помиловании. Если моя душа и моя любовь представляют собою два чистейших вдоха, когда буду умирать, я закляну Агонию, дабы вздох любви моей расставался с телом в наипоследнюю очередь, и тем образом совершу – в виде последнего подношения – чудо, которым вы сможете гордиться: хотя бы миг, но о вас продолжит вздыхать тело уже бездуховное».

«Бездуховное. Конец?»

«Нет, погодите, нужен финал с вывертом...»

«Как это?»

«Усилие ума, которым будет подмечена неслыханная до этой поры связь между двумя предметами, превосходящая любое наше соображение, так чтобы в этом занимательном упражнении таланта весело затмилось всякое понятие о сущности вещей».

«Я не понял...»

«Сейчас поймете. Вот: повернем вспять все сказанное прежде, вы еще, к счастью, не умерли, и дадим ей возможность воспрепятствовать умиранию. Пишите. Вы, может быть, преуспеете еще, сударыня, меня спасти. Я отдал вам свое сердце. Но как мне существовать без этого двигателя жизни? Не прошу вас вернуть его, ибо только в сладчайшей неволе располагает оно преславнейшей из свобод. Однако прошу, пришлите ко мне в замену сердце ваше, ибо не найти поместилца более достойного, чтоб почтить его. Чтобы жить, вам нет нужды в двух сердцах. Мое же бьется в вашу честь настолько мощно, что может обеспечить вам навековечнейшее из пыланий».

Он крутнулся на каблуках и раскланялся, как артист в ожидании рукоплесканий. «Что, разве не великолепно?»

«Великолепно? Да... но, как бы сказать... немного комично. С чего бы этой даме бегать по Казале и вручать и принимать сердца, подобно разносчику?»

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Мелодия «Daphne» создана фламандским флейтистом Якобом ван Эйком Младшим (1590–1657), ему же принадлежит мелодия «Amaryllis», что соответствует имени другого корабля у Эко (в тексте корабль назван по-итальянски «Amarilli»). (См. прим. к назв. глав 7 и 32). (Здесь и далее прим. перев.).

2

Французская историческая хроника «Histoire Journali?re de ce qui s'est passe dans le Montferrat» («Подневный отчет о том, что происходило в Монферрате», первая половина XVII в.).

3

Сударь, не менее славно победить врага любезностью в мире, чем оружием на войне (исп.).

4

И я тоже (исп.).

5

Книга итальянского автора Томмазо Гарцони (1549–1589) «Il serraglio degli stupori del mondo» (опубл. в 1619).

6

Французский военный учебник «La fortification demontre» (XVII в.).

7

Книга чешского мыслителя Яна Амоса Коменского (1592–1670) «Labyrint sveta a rj srdce» («Лабиринт света и рай сердца», 1623, опубл. в 1631).

8

Книга римского иезуита, немца, отца Атанасиуса Кирхера (1601–1680) «Ars Magna Lucis et Umbrae» (1645). (См. также прим. к назв. глав 33 и 39).

9

«Pavane Lachryme» – название мелодии Якоба ван Эйка (см. прим. к назв. глав 1 и 32). Павана – торжественный придворный танец XVI–XVII вв. Существен для последней страницы главы и еще один возможный подтекст названия: «Pavane pour une infante dfunte» («Павана по опочившей принцессе», 1899) Мориса Равеля (1875–1937).

10

Обыграно название сочинения римского иезуита, француза Франсуа Гарасса (1585–1631) «La doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps» («Занимательная наука изящных умов нашей эпохи», 1624).

11

Трактат по эстетике туринского иезуита отца Эмануэле Тезауро (1592–1675)  
«Il Cannocchiale Aristotelico» (1654).

12

К примеру (лат., ит. – шутл.).

13

Латиноязычный труд ученого иезуита Джованбаттисты Риччоли (1598–1671)  
«Geographia et hydrographia reformatae» (1661).

14

Трактат испанского писателя и философа Балтасара Грасиана-и-Моралеса  
(1601–1658) «Oraculo Manual y Arte de Prudencia» («Обиходный Оракул,  
или Искусство быть осмотрительным», 1647. Первый русский перевод назывался  
«Придворный человек» (1739). См. «Карманный оракул. Критикон» (М.: Наука,  
1984).

15

Произведение Рене Декарта (1596–1650) «Les passions de l'âme» (1649).

16

На пороге (лат.).

----

Купить: <https://telnovel.me/ru/umberto-eko/ostrov-nakanune-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)